

Ника Мур

Ника Мур Врачиха-купчиха

ВРАЧИХА- КУПЧИХА

Тайный наследник

попаданка



Ника Мур

**Врачиха- купчиха.
Тайный наследник.**

«Литнет»

2026

Мур Н.

Врачиха- купчиха. Тайный наследник. / Н. Мур — «Литнет»,
2026

Пятьдесят лет я тянула на себе сельскую больницу и мужа-пьяницу, а в благодарность получила толчок в висок. Смерть? Нет, ирония судьбы! Я очнулась в теле тридцатилетней красавицы-купчихи Аксины Коробовой. Вот только вместо мягких перин под рукой — гнилая солома, а на запястьях — кандалы. Муж-подлец обвинил в отравлении свёкра, упёк в тюрьму и уже делит моё приданое. Но они не на ту напали. В моих руках — опыт старого фельдшера и знания из будущего. Когда в коридоре каземата падает раненый офицер, я не жду милости, а рву подол платья и приступаю к операции. Они называют меня «безумной». Муж в бешенстве требует развода. А суровый начальник стражи с тяжелым взглядом почему-то всё чаще заглядывает в мою камеру... Я наведу здесь свои порядки. Открою аптеку, спасу тех, от кого отказались врачи, и верну своего сына. И пусть теперь меня боятся те, кто считал Аксиныю жертвой. Врачиха идёт! В тексте вас ждут: ✓ Попаданка со стажем: Мудрость 50-летней женщины в молодом и энергичном теле. ✓ Бытовое фэнтези: Обустройство усадьбы, медицина «на коленке» и прогрессорство без магии, но с умом. ✓ Сильная героиня: Раиса не плачет, она ставит диагноз и лечит — и людей, и судьбу. ✓ Настоящий мужчина: Суровый, властный, но умеющий уважать женщину за её талант. ✓ Интриги и тайны: Кто на самом деле травил семью и где спрятан «умерший» наследник? ✓ Справедливое возмездие: Бывший муж еще пожалеет, что не довёл дело до конца.

© Мур Н., 2026

© Литнет, 2026

Содержание

Глава 1	6
Глава 2	13
Глава 3	20
Глава 4	25
Глава 5	30
Глава 6	36
Глава 7	42
Глава 8	47
Глава 9	53
Глава 10	57
Глава 11	63
Глава 12	67
Конец ознакомительного фрагмента.	68

Глава 1

Последнее, что я помнила — это тяжелый, кислый запах перегара и вид вздувшейся вены на шее Василия. Тридцать лет я латала эту шею, зашивала его рваные раны после драк в сельмаге, выхаживала после белой горячки и терпела.

Профессиональная деформация: врач не может бросить больного. А

Василий был болен — глубоко, безнадежно, алкогольно.
— Опять заначку спрятала, врачиха? — взревел он, замахиваясь массивным кулаком. Я не испугалась. В пятьдесят лет страх атрофируется, остается только глухая

усталость. Я просто не успела увернуться. Мои ноги, гудящие после

двенадцатичасовой смены в районной больнице, подвели. Толчок в грудь

был коротким и яростным. Я отлетела назад, и мир взорвался ослепительной

вспышкой боли, когда затылок встретился с острым чугунным углом нашей

старой печки.

«Черепно-мозговая... открытая... — мелькнула профессиональная мысль. — Гематома

будет... огромная».

А потом наступила тишина. Такая глубокая, какой не бывает в сельской местности,

где всегда поют цикады или лают собаки. Тишина пахла старой, промерзшей землей

и мокрой известью.

Холод. Он просачивался сквозь кожу, вгрызался в кости, заставляя каждую клеточку

тела вибрировать в мелкой, изнуряющей дрожи. Я попыталась вдохнуть, и легкие

обожгло сыростью. Это был не запах моей кухни. Это был смрад застоялой воды,

испражнений и гнилой соломы.

Я открыла глаза и тут же зажмурилась от резкой, пульсирующей боли в правом

виске. — Живая, — прохрипел чей-то голос, сухой и колючий, как наждак. —

Гляди-ка, оклемалась душегубица.

Я заставила себя снова разомкнуть веки. Надо мной не было потолка моей избы.

Вместо него — тяжелые, сводчатые каменные плиты, по которым медленно стекали

капли воды. Света почти не было — лишь тусклый, серый луч пробивался сквозь

узкую щель где-то под самым потолком.
Я попыталась поднять руку, чтобы коснуться виска, и тут же услышала резкий, звонкий лязг. Тяжесть на запястьях была непривычной и пугающей. Кандалы. Настоящие железные браслеты, соединенные короткой цепью. Железо было старым, шербатым и ледяным. Оно впивалось в кожу, которая... Я замерла, глядя на свои руки. Это были не мои руки. Не руки Раисы Сергеевны, фельдшера с тридцатилетним стажем. Где мои узловатые пальцы с въевшейся в поры землей? Где старческая пигментация и шрам от скальпеля на большом пальце? Передо мной были тонкие, алебастрово-белые кисти. Длинные, изящные пальцы с аккуратно подпиленными ногтями. Кожа — гладкая, прозрачная, словно светящаяся изнутри. «Галлюцинация... предсмертный бред», — подумала я, закрывая глаза. Но боль была слишком реальной. Она пульсировала в виске, отдаваясь в зубах. Я перекатилась на бок, чувствуя под собой колючую, влажную солому. Мое платье... Это было не ситцевое халатное недоразумение, в котором я обычно ходила дома. На мне были остатки роскоши: тяжелый темно-синий шелк, расшитый по вороту мелким жемчугом. Сейчас он был изгваздан в нечистотах, порван на плече, но ткань ощущалась под пальцами невероятно дорогой. — Ну, чего молчишь, Акси́нья свет-Николаевна? — Снова тот же голос. Я медленно повернула голову. За тяжелой железной решеткой стоял человек. Грузный, в грязном сером кафтане с медными пуговицами. Его лицо, заросшее неопрятной бородой, выражало смесь безразличия и злорадства. В руках он держал связку ключей и железную миску, от которой поднимался пар с запахом прогорклого жира. — Где я? — мой голос прозвучал высоко и чисто. Никакой привычной хрипотцы, никакого низкого «прокуренного» тембра. Голос молодой женщины. Надзиратель — а это был именно он — хохотнул, оголяя гнилые зубы. — Ишь, память-то отшибло! В яме ты, голубушка. В городской управе. Заждались тебя уже на том свете, да видно, черти обратно выплонули. Завтра пристав

придет, будет протокол окончательный по делу об отравлении Петра свет-Никодимовича дописывать. Муженек-то твой, Авдей Петрович, третьего дня все доказательства представил. И скляночки твои с мышьяком, и записки...

В голове вдруг что-то шелкнуло. Память — чужая, липкая, страшная — хлынула колючим потоком. Аксиныя Коробова. Тридцать лет. Жена богатейшего купца второй гильдии Авдея Коробова. Я видела высокие залы с изразцовыми печами. Слышала сухой, высокомерный голос Авдея: «Ты — пустоцвет, Аксиныя. Ни наследника мне не дала, ни покоя. Безумие в твоей крови, от матери досталось...». Видела лицо старика-свекра, искаженное судорогой, и свои руки, дрожащие от страха, когда меня волокли по лестнице жандармы. — Я никого не травила, — произнесла я, и сама удивилась тому, как твердо это прозвучало.

Надзиратель сплюнул под ноги. — Это ты судье рассказывать будешь. А по мне — так в петлю тебе дорога, красавица. Такого человека извела... Благодетеля. Авдей Петрович вон почернел весь от горя, а всё ж милосердствует — распорядился, чтоб кормили тебя не только водой.

Он швырнул миску через проем в решетке. Жижа выплеснулась на солому, обдав мои босые ноги теплом. — Ешь, не обляпайся. Авось до завтра не подохнешь. Он развернулся и ушел, гремя ключами. Шаги его долго эхом отдавались в каменном коридоре.

Я осталась одна. Тишина снова сомкнулась, но теперь я не боялась её. Я была врачом. В любой ситуации, даже самой бредовой, нужно сначала собрать анамнез.

Итак, что мы имеем? Объект: женщина, на вид около тридцати. Состояние: ЧМТ (черепно-мозговая травма), вероятное сотрясение. Общее истощение.

Психический статус: перенос сознания (как бы дико это ни звучало).

Обстановка: тюремный каземат, условия антисанитарные. Социальный статус:

обвиняемая в убийстве родственника.

Я подползла к стене, опираясь на холодные камни. Каждое движение отзывалось

звоном кандалов. Тяжелые, зараза. Кожа под ними уже стерта в кровь,

сукровица подсохла, образовав корочки.

«Так, Раиса, спокойно. Ты тридцать лет в сельской больнице без лекарств

выживала, — сказала я себе. — И тут разберемся».

Я подняла руки к лицу, пытаюсь рассмотреть пальцы в скудном свете. И тут мое

сердце пропустило удар. Я смотрела на ногтевые пластины. Поперек каждого

ногтя проходила четкая, белая, словно мелом нарисованная горизонтальная

полоса.

Линии Меса.

Профессиональная память услужливо подкинула страницу из учебника по судебной

медицине. Белые полосы на ногтях, сухость кожи, легкое дрожание пальцев,

которое я сначала приняла за озноб... — Мышьяк, — прошептала я.

Ногти растут медленно. Около миллиметра в неделю. Если полоса находится почти на

середине ногтя, значит, ударная доза яда попала в организм около месяца-полутора

назад.

Аксинью не просто обвиняли в отравлении. Её саму методично, каплей за каплей,

травили. Мышьяк в малых дозах вызывает раздражительность, вспышки гнева,

галлюцинации и спутанность сознания. Идеальный способ свести человека с

ума, а потом обвинить в чем угодно.

«Авдей Петрович вон почернел весь от горя...» — вспомнила я слова надзирателя. —

Почернел он, как же, — горько усмехнулась я, чувствуя, как внутри закипает

холодная, профессиональная злость. — Значит, муженек решил избавиться от

жены, приписав ей свое преступление? Классика жанра.

Я посмотрела на разлитую кашу. Есть её было нельзя. Если Авдей хочет моей

смерти, яд может быть и там. Но пить... Жажда становилась невыносимой. В

углу камеры стоял надтреснутый кувшин. Я подползла к нему, загремев цепями,

и осторожно понюхала воду. Пахло старым железом, но не чесноком (запах мышьяка

часто маскируют, но я — старая ищейка, меня не проведешь).

Я сделала глоток. Вода была ледяной и вкусной.

— Ладно, Акси́нья, — сказала я, глядя на свои новые, изящные руки. — Раиса

Сергеевна принимает смену. Мы еще посмотрим, кто тут душегуб, а кто —

врачиха.

Я снова легла на солому, стараясь не шевелить головой. Нужно было экономить

силы. Чужая память продолжала всплывать фрагментами, словно кусочки пазла.

Акси́нья была дочерью богатого купца из Ольховки. После смерти родителей она

осталась единственной наследницей огромного состояния — земель, мануфактур,

лесов. Авдей Коробов, тогда еще молодой и амбициозный, быстро окрутил сироту.

А после свадьбы... после свадьбы жизнь превратилась в золотую клетку.

Она не была злой. Она была одинокой и очень напуганной. Авдей методично внушал

ей, что она больна, что её мать умерла в беспамятстве, и её ждет то же самое.

Он уволил всех верных слуг, заменив их своими людьми. Он забирал её письма, он

решал, что ей есть и с кем говорить. А потом умер старый Петр Никодимович.

Свекор, который был единственным, кто относился к Акси́нье по-человечески.

Он собирался переписать часть торгового дела на неё, в обход сына, зная об

игровых долгах Авдея в столице.

— Вот оно что, — пробормотала я. — Мотив старый как мир. Деньги и власть.

Я почувствовала, как по щеке катится слеза. Акси́нья... бедная, затравленная

девочка. Она не выдержала удара судьбы, когда её бросили в эту яму. Её

душа просто ушла, освободив место для меня. Для той, кто привык драться за

каждый вздох пациента и не боялся ни черта, ни Бога, ни пьяного мужа с

топором.

— Спасибо тебе, девочка, — прошептала я в темноту. — Я не дам твоему телу сгнить

в этой дыре. Обещаю.

Где-то наверху, за пределами моего каземата, город жил своей жизнью. Я слышала

отдаленный звон церковных колоколов. Вечерняя служба. В камере становилось всё

холоднее. Я подоткнула под себя остатки шелкового подола, стараясь согреть босые ступни.

Вдруг звук шагов в коридоре повторился. Но на этот раз это был не грубый топот

Саввы. Шаги были четкими, размеренными, тяжелыми. Так ходят люди, привыкшие

командовать. Звяканье шпор — короткое, властное.

Я затаила дыхание.

Свет фонаря качнулся на стене, разрезая темноту. К моей решетке подошел человек.

Он был высок, в темном мундире с высоким воротником, который скрывал нижнюю

часть лица. Но глаза... Глаза я разглядела хорошо. Темные, пронзительные, они

смотрели на меня не с брезгливостью, а с каким-то странным, почти болезненным

любопытством.

— Купчиха Коробова? — голос был низким, бархатистым, с легкой хрипотцой. Я

медленно села, стараясь сохранить остатки достоинства. Цепи на моих руках

звякнули, и мужчина поморщился, словно от зубной боли. — Я — Аксинья

Николаевна, — ответила я, глядя ему прямо в глаза. — И если вы пришли

за признанием, то зря потратили время.

Мужчина молчал несколько секунд. В тишине было слышно только, как трещит масло в

его фонаре. — Меня зовут Трифон, — наконец произнес он. — И я здесь не ради

ваших признаний. Я здесь, чтобы понять, как женщина с такими глазами могла

отравить человека, который её любил.

Я усмехнулась. Боль в виске на мгновение отступила, уступая место азарту. — В

глазах, господин Трифон, можно увидеть только отражение собственной души. А

если вы хотите знать правду, то посмотрите лучше на мои руки. Если, конечно,

ваш лекарь понимает разницу между симптомами безумия и симптомами отравления

солями металлов.

Мужчина качнулся вперед, вплотную к решетке. Свет фонаря упал на его лицо, и я

увидела глубокий шрам, пересекающий левую щеку. — Что вы сказали? —

переспросил он тише.

— Я сказала, что в этой камере двое отравленных, — я подняла скованные руки,

выставляя вперед ногти с белыми полосами. — Один уже в могиле, а вторая сидит перед вами. И если вы не дурак, вы поймете, кому выгодны обе эти смерти.

Трифон долго смотрел на мои пальцы. Я видела, как в его глазах борется недоверие и какой-то новый, острый интерес. — Завтра вас ждет допрос у пристава, — сказал он, отступая в тень. — Советую вам быть осторожнее в словах, Аксинья

Николаевна. Стены здесь имеют уши, а у вашего мужа — длинные руки. — У меня тоже руки не из ваты, — бросила я ему вдогонку. — Пусть приходят. Я —

врачиха. Я знаю, как вырезать опухоль, пока она не пустила метастазы.

Он ушел, не оборачиваясь. Но я знала, что он запомнил мои слова. Я снова легла

на солому. Голова кружилась, но теперь в груди горел огонек надежды.

«Ну что же, Василий, — подумала я, засыпая. — Ты толкнул меня в прошлое. И ты

даже не представляешь, какую силу ты освободил».

Где-то в глубине тюрьмы хлопнула дверь. Начиналась первая ночь моей новой жизни.

И я собиралась сделать всё, чтобы она не стала последней.

Глава 2

Запах дорогого табака — горький, с едва уловимой ноткой вишневой косточки — всё еще висел в спертom воздухе камеры, когда шаги Трифона затихли в конце коридора. Я сидела неподвижно, прислонившись затылком к влажному камню, и слушала, как кровь в ушах отстукивает размеренный ритм. «Зацепила», — констатировала я, прикрыв глаза. Профессиональная деформация: врач всегда чувствует, когда пациент или собеседник «заглатывает наживку». Трифон не был обычным тюремщиком. Тот холодный, аналитический блеск в его глазах, выправка, этот шрам, который он даже не пытался скрыть — передо мной был хищник, привыкший наблюдать, а не просто сторожить. И он увидел во мне не безумную бабу, а нечто, не укладывающееся в его систему координат. Я потеряла плечи, пытаюсь унять озноб. Кожа под пальцами ощущалась странно — тонкая, словно сухой пергамент, шелушащаяся на локтях. Еще один симптом. Мышьяк бьет по всем фронтам: нервы, желудок, кожные покровы. Если бы Аксинья просидела здесь еще неделю, она бы просто превратилась в живой труп с затуманенным рассудком. «Вспоминай, девочка, — приказала я себе, погружаясь в мутную взвесь чужой памяти. — Что было до того, как тебя швырнули на солому?» Перед глазами поплыли обрывки, похожие на кадры старой киноплёнки. Золотистый свет вечернего солнца в гостиной. Тяжелые портьеры. Авдей — его лицо всегда казалось мне красивым, но теперь, сквозь призму опыта Раисы, я видела лишь хищный оскал и фальшь в каждом движении. — Пей, Аксиньюшка, — его голос обволакивал, как патока. — Это настой от нервного расстройства. Лекарь советовал. Ты же не хочешь снова кричать по ночам? И она пила. Каждое утро и каждый вечер. А потом начались «тени». Она видела людей там, где их не было. Слышала шепот из углов. Авдей обнимал её, сокрушенно качая головой перед слугами: «Бедная моя жена, совсем разум

теряет...»

Только свекор, Петр Никодимович, смотрел иначе. Старый купец, построивший эту

империю на крови и поте, видел сына насквозь. За неделю до своей смерти он

зашел в спальню к Аксинье, когда Авдей уехал в лавку. — Потерпи, дочка, —

шептал он, сжимая её руку своими сухими, узловатыми пальцами. — Я всё знаю.

Документы я справил, у нотариуса они. Скоро всё изменится. Авдейке я ни гроша

не оставлю, пока он за голову не возьмется, а тебя в обиду не дам.

Но через три дня Петр Никодимович умер в страшных корчах. А Аксинью обвинили в

том, что она подсыпала яд в его любимый сбитень.

Резкий скрежет засова вырвал меня из воспоминаний. — Давай, шевелись, падаль! —

рявкнул Савва, впихивая в соседний отсек каземата двух женщин.

Одна — крупная, широкоплечая, с лицом, изрытым оспой и следами застарелых драк.

Она ввалилась в камеру, тяжело дыша, и тут же сплюнула на пол. Вторая — совсем

девчонка, лет семнадцати, в рваном сарафане, с глазами, полными животного

ужаса. Она забилась в угол, закрыв голову руками.

— Гляди-ка, Глашка, — хохотнул Савва, указывая на меня ключами. — У тебя в

соседках сама барыня Коробова. Та самая, что свекра извела. Ты уж

поаккуратнее с ней, а то гляди — и тебе чего в кружку подсыплет.

Крупная баба, которую звали Глафирой, медленно повернулась ко мне. Её взгляд был

тяжелым, пропитанным тюремной злобой и желанием сорвать на ком-то свою боль. —

Слышь, барыня, — прохрипела она, подходя к решетке, разделяющей наши отсеки. —

Говорят, ты богатая? Жемчуга вон на платье... А ну, делись, пока я тебе косы не

повыдергала.

Я медленно встала. Кандалы звякнули — не жалобно, а как-то предупреждающе. Я

смотрела на Глафиру так, как смотрела на буйных алкоголиков в приемном

покое. Спокойно, чуть свысока, с той долей профессионального равнодушия,

которое пугает больше, чем крик. — Сядь, — сказала я тихо. — И руку не тяни.

Тебе и так недолго осталось.

Глафира поперхнулась ругательством. — Чего?! Ты мне тут не каркай, ведьма! — Я не каркаю, я диагноз ставлю, — я сделала шаг ближе, так что наши лица оказались в футе друг от друга. — У тебя правая рука как бревно.

Раздулась, посинела. И пахнет от тебя не просто потом, а гниющим мясом.

Флегмона у тебя, Глафира. Если до завтра не вскроем — рука почернеет, и пойдешь ты к Богу от заражения крови.

Баба невольно отшатнулась, прижимая правую руку к груди. Она была действительно чудовищно распухшей, пальцы напоминали сосиски, а кожа лоснилась от внутреннего напряжения. — Откуда... откуда знаешь? — прошептала она. Бойцовский задор из неё вылетел, сменившись суеверным страхом.

— Врачиха я, — я сама не заметила, как использовала это слово. — Хочешь жить — слушай меня.

Я оглядела себя. Инструментов нет. Антисептики — только вода. Но медлить было нельзя. Флегмона — штука коварная, гной уже наверняка начал пропитывать фасции. — Савва! — крикнула я, но охранник уже ушел.

Я взглянула на свое платье. На лифе сидели крупные, литые пуговицы из серебра с довольно острыми краями. Я вцепилась в одну из них, зубами перегрызая крепкую шелковую нить. Пальцы слушались плохо, но азарт хирурга пересиливал слабость тела. Наконец пуговица оказалась у меня в ладони. Я потерла её край о каменный пол, затачивая серебро, пока на нем не появился блеск.

— Подойди к решетке, — скомандовала я Глафире. — Руку просунь между прутьев.

Держи крепко. Будет больно, но если дернешься — порежу лишнее.

Девчонка в углу притихла, во все глаза глядя на нас. Глафира, тяжело сопя, подчинилась. Её рука, горячая, как печка, легла на холодное железо. —

Марфа, — обратилась я к младшей. — Подай кувшин с водой. Полей ей на руку.

Живо!

Марфа подскочила, трясущимися руками схватила кувшин. Тонкая струйка омыла багровую кожу Глафиры. Я перекрестилась — не из набожности, а по старой

привычке сельских врачей перед сложной манипуляцией — и крепко зажала

пуговицу между пальцами.

— Терпи, Глаша.

Я резким, точным движением полоснула по самому напряженному участку кожи.

Глафира взвыла, впившись зубами в губу, но руку не убрала. Из раны хлынул

густой, желтовато-серый гной вперемешку с темной кровью. Запах был невыносимым,

но для меня это был запах победы. — Лей воду! Еще! — командовала я, надавливая

пальцами вокруг разреза, вычищая полость.

Через десять минут всё было кончено. Глафира висела на решетке, бледная,

обливающаяся потом, но её дыхание стало ровнее. Острое, разрывающее

чувство в руке сменилось тупой, ноющей болью — верный знак того, что

давление спало. — Тряпку дай, — выдохнула я Марфе. Та оторвала кусок от

своего и без того короткого подола. Я перевязала руку Глафиры, плотно затянув

узел.

— Теперь будешь жить, — я опустилась на солому, чувствуя, как перед глазами

плывут черные круги. Слишком много сил ушло на этот короткий акт

милосердия.

Глафира долго молчала, глядя на свою перебинтованную руку. Потом медленно

повернулась ко мне. В её глазах больше не было злобы. Только безмерное,

тупое удивление. — Ты... ты правда врачиха? — тихо спросила она. — Говорили —

безумная. Говорили — змея подколодная. — Много чего говорят, — я закрыла

глаза. — Расскажи лучше, что в городе слышно. Про мужа моего, Авдея

Петровича.

Глафира придвинулась ближе к решетке, её голос стал заговорщицким шепотом. — Дак

чего... Празднует он. Весь город гудит. Говорят, наследство принял полное. А еще

говорят — бабу в дом привез. Из столицы, рыжую такую, в шелках да в кружевах.

Экономка ихняя на рынке болтала, что Авдей Петрович за ней еще год назад

ухлестывал, пока ты, барыня, «болела».

Внутри у меня что-то оборвалось. Не от ревности — какая может быть ревность к человеку, которого я ненавидела заочно? От понимания масштабности интриги.

Авдей травил жену, пока крутил роман на стороне, выжидая смерти отца.
— А про дедушку, Петра Никодимовича, чего болтают? — спросила я, борясь с накатывающей слабостью. — Поминали его вчера... Дед-то мировой был, строгий, но справедливый. Глафира замялась. — Слышь, барыня... Тут такое дело. В приют он ездил, за город. В Николаевский. Больно часто в последний месяц-то. Говорят, денежки туда возил немалые. И всё шептался с настоятельницей.

Николаевский приют. Сердце забилося где-то в горле. «Он жив... сын твой...» — голос свекра из забытья прозвучал так ясно, словно он стоял рядом. Я хотела спросить что-то еще, но лихорадка, которую я так долго сдерживала, наконец накрыла меня тяжелым одеялом. Сознание начало проваливаться в серый туман.

Мне снился сон. Я снова была в том богатом доме, но в теле Аксины. Я стояла в дверях спальни свекра. Он лежал на высоких подушках, его лицо было землистого цвета. — Аксиныюшка... — прохрипел он. — Не верь Авдею. Мальчика не похоронили... подменили его... В приюте он. Медальон... в тайнике, за иконой Николая Угодника... Я сделала шаг к его кровати, но тут дверь за моей спиной скрипнула. Я

обернулась. В дверях стояла женщина. Лица не было видно из-за густой вуали, но я отчетливо запомнила её руки. Тонкие, длинные пальцы в дорогих кружевных перчатках. В одной руке она держала серебряный поднос, а в другой — крошечный флакон темного стекла. Она подошла к столику, и я увидела, как капля прозрачной жидкости упала в стакан со сбитнем. Кап... кап... кап...

Я хотела закричать, предупредить его, но голос пропал.

— Акси́нья! Вставай!

Я вздрогнула и открыла глаза. Над казематом забрезжил рассвет — серый, холодный, пахнувший бедой. У моей решетки снова стоял Трифон. Сегодня на нем был тяжелый дорожный плащ, а лицо казалось высеченным из камня. Савва стоял чуть позади,

подобострастно сгибаясь и позвякивая ключами.

— Вставайте, Аксинья Николаевна, — голос Трифона был сухим и официальным, но в

глубине зрачков я заметила странное беспокойство. — Прибыл ваш супруг, Авдей

Петрович.

Я медленно поднялась, поправляя растерзанное платье. Кандалы отозвались

привычным лязгом. Глафира и Марфа в соседней камере замерли, боясь

дышать. — И чего же хочет мой любящий муж? — я выпрямила спину, чувствуя,

как внутри закипает та самая Раиса Сергеевна, которая когда-то выставила из

операционной пьяного главврача.

Трифон помедлил, переводя взгляд на мою шею, где билась жилка. — Он привез

медицинское заключение от городского лекаря и двух свидетелей. На

основании ваших «безумных речей» и «покушения на убийство», он требует

вашего немедленного перевода в желтый дом. В губернскую лечебницу для

умалишенных.

Я почувствовала, как холодеют кончики пальцев. Сумасшедший дом в девятнадцатом

веке — это не больница. Это прижизненный ад, откуда не возвращаются. Там меня

не просто спрячут — там меня закончат травить официально, под присмотром

купленных врачей.

— А вы? — я шагнула к решетке, глядя прямо в глаза Трифона. — Вы тоже считаете

меня безумной, господин офицер? После того, что я сказала вам вчера?

Трифон молчал. Я видела, как ходят желваки на его скулах. Он вспомнил про «соли

металлов». Вспомнил мой взгляд. — Мое мнение здесь ничего не значит, —

отчеканил он. — Есть закон. Есть воля мужа-опекуна.

— Закон? — я горько усмехнулась. — Закон — это когда лечат больных и судят

преступников. А то, что происходит сейчас — это казнь.

— Выходите, — Трифон кивнул Савве. — Кандалы не снимать. Повезете её в закрытой

кажете. Авдей Петрович ждет во дворе.

Савва с готовностью провернул ключ. Дверь камеры открылась с протяжным стоном. Я

вышла в коридор, чувствуя, как кружится голова от свежего воздуха, тянущего из

открытых дверей управы. Глафира вдруг просунула руку сквозь решетку и схватила меня за край платья. — Держись, врачиха, — прошептала она так, что слышала только я. — Не давай им тебя сломать. Мы про тебя по всей тюрьме слух пустим. Ты — наша.

Я кивнула ей и пошла вслед за Трифоном. Мои босые ноги обжигал холодный каменный пол, цепи били по щиколоткам, но я шла ровно.

Я еще не знала, что ждет меня во дворе, и как выглядит мой «муж» в реальности, а не в туманных снах Аксины. Но я знала одно: я не позволю им запереть себя в лечебнице. У меня была цель. Маленький мальчик в Николаевском приюте, который ждал свою маму.

И если для того, чтобы его спасти, мне нужно будет разнести этот город по кирпичику — я это сделаю. С помощью Трифона или вопреки ему.

Шаги гулко отдавались под сводами. Впереди маячил свет открытых ворот, за которыми ждала неизвестность. Первая битва за жизнь была выиграна — я не умерла в яме. Но война только начиналась.

Глава 3

Дневной свет ударил по глазам так больно, что я едва не осела на землю. После густого, пахнущего плесенью полумрака каземата двор городской управы показался мне выбеленным листом бумаги. Я стояла, пошатываясь, чувствуя, как тяжелые кандалы тянут руки вниз, и пыталась проморгаться. — Поторопись, — сухо бросил Трифон, идя чуть впереди. Его плащ развевался на ходу, и я видела, как напряжена его спина. Он не оборачивался, но я кожей чувствовала — он ждет моей реакции. В центре двора, вымощенного щербатым булыжником, стояла массивная дорожная карета. Черный лак, золоченые ручки — всё в ней кричало о богатстве и сословной спеси. Рядом, подложив руку под борт, замер человек. Авдей Коробов. Мой «любящий» муж. Он выглядел именно так, как нашептывала память Аксины: лощеный, в дорогом кафтане из тонкого сукна с лисьей оторочкой. Бородка аккуратно подстрижена, на пальце — массивный перстень с печаткой. Но глаза... Когда он поднял взгляд, я увидела в них не скорбь и даже не ненависть. Это были холодные, рыбы глаза дельца, который смотрит на партию испорченного товара. — Аксиныюшка, — голос Авдея был пропитан липким, фальшивым сочувствием. Он прижал платок к губам, словно вид моей изорванной одежды и грязного лица причинял ему невыносимые страдания. — Господи, до чего же тебя довело твое безумие. Он сделал шаг ко мне, протягивая руку, но я инстинктивно отшатнулась. Цепь между моими запястьями звякнула, и этот звук заставил Авдея поморщиться. — Не старайся, Авдей, — мой голос прозвучал неожиданно хрипло, но твердо. — Лисья шуба на тебе сидит гораздо лучше, чем роль убитого горем вдовца. Прибереги эти вздохи для пристава. Или для своей рыжей пассии, которую ты уже поселил в моем доме.

Авдей замер. Его маска на мгновение треснула, и из-под неё выглянула истинная, злобная натура загнанной в угол крысы. Его губы дернулись, обнажая ровные белые зубы.

— Видите, господин офицер? — Авдей повернулся к Трифону, который стоял чуть поодаль, сложив руки на груди. — Она бредит. Сами слышите — обвинения, беспочвенная ревность, злоба. Бедная, несчастная душа. Карета готова, лекарь в губернии уже ждет. Там ей будет покойно.

Трифон промолчал, лишь сузил глаза. Я видела, как он переводит взгляд с меня на

Авдея, словно взвешивает нас обоих на невидимых весах.

В этот момент со стороны главных ворот послышался шум. — Поберегись! Эй,

кандалные, в ряд стройся! — закричал конвойный.

Через двор вели группу каторжан — человек десять, заросших, оборванных, в

тяжелых ножных цепях. Их гнали на этап, в сибирские рудники. Один из них,

рослый детина с проваленным носом и лихорадочным блеском в глазах, внезапно

споткнулся.

— Куда прешь, Степан! — стражник толкнул его прикладом ружья.

Всё произошло в считанные секунды. Степан, которого конвойные явно недооценили,

не упал. Он резко развернулся, и я увидела, как в его руке блеснул кусок

заточенного металла — обычная ложка, превращенная в смертоносное жало. Он

не пытался бежать. Его целью был ближайший офицер.

Трифон.

Степан бросился вперед с диким звериным рыком. Трифон успел среагировать — он

инстинктивно ушел в сторону, но каторжанин был быстрее. Заточка вошла в

область паха, глубоко, с влажным хрустом вспарывая ткань мундира и плоть.

— А-а-а! — взвыл стражник, бросаясь на Степана. Каторжанина сбили с ног, забили

прикладами, но дело уже было сделано.

Трифон медленно осел на булыжники. Его лицо в одно мгновение стало серым, как

пепел. Он прижал ладони к ране, и я увидела то, что заставило мое сердце

забиться в бешеном ритме.

Кровь. Она не просто сочилась. Она была мощным, пульсирующим фонтаном из-под его

пальцев, окрашивая серые камни в ярко-алый цвет.
Артериальное кровотечение. Бедренная артерия.
— Врача! Лекаря зовите! — кричал кто-то из солдат. Паника накрыла двор.

Стражники бестолково суетились, Авдей с криком «Боже правый!» бросился к
своей карете, пытаясь захлопнуть дверь.
«Сейчас уйдет. Три минуты — и труп», — холодная, расчетливая мысль Раисы

Сергеевны прорезала мой собственный страх.
Я забыла, что я в кандалах. Забыла про Авдея, про тюрьму, про свою новую жизнь.

В этот момент я снова была хирургом на месте ДТП. Я рванулась вперед, и цепь на
моих руках болезненно натянулась.
— Назад! Все назад! — заорала я таким голосом, что ближайший солдат невольно

отступил. — Жгут! Дайте мне что-нибудь для жгута!
Я упала на колени рядом с Трифоном. Он уже не пытался зажимать рану — его руки

бессильно упали, веки затрепетали. Под ним быстро расплывалась огромная лужа.
— Трифон, смотри на меня! Не закрывай глаза! — я вцепилась зубами в край своего

шелкового подола и рванула. Ткань поддалась с треском. — Помогите мне, идиоты!
Я накинула полосу шелка на его бедро, выше раны. Но сил моих рук, скованных

цепью, не хватало, чтобы затянуть узел с нужной силой. Цепь мешала, она

звенела, ограничивая мои движения.
— Заточку! Дайте заточку! — я увидела обломок ложки, который выронил бандит.
Один из солдат, молодой парень с бледным лицом, дрожащими руками подал мне

железку. Рядом валялась фляга, выпавшая у кого-то из стражников. Я

плеснула из неё на руки и на рану — пахло сивухой. Пойдет. Не спирт,

но хоть какая-то дезинфекция.
Я просунула обломок ложки под узел шелковой повязки и начала крутить. Медленно,

преодолевая сопротивление ткани. Это называется «закрутка». Древний способ, но

единственный эффективный в этом аду.
— Держите его! — скомандовала я подоспевшим солдатам. — Прижмите плечи!
Я крутила, пока шелк не впился в тело Трифона так глубоко, что пульсирующий

фонтан крови сначала ослаб, а потом превратился в ленивую струйку.
— Еще... еще немного... — я стиснула зубы до скрежета. Пот заливал глаза.
Мои руки были по локоть в горячей, липкой крови. Я чувствовала под пальцами

рванные края сосуда, чувствовала, как жизнь Трифона пытается проскользнуть
сквозь мою хватку.

— Всё. Кровотечение остановлено, — выдохнула я, фиксируя закрутку краем ткани. —

Теперь носилки. Живо! Его нужно поднять, ноги выше головы! Горячего питья и
одеяла!

Я подняла голову. Двор замер. Солдаты смотрели на меня с суеверным ужасом. Авдей

выглядывал из окна кареты, и его лицо было блее моей рубашки. В его взгляде

больше не было превосходства. Там был страх. Настоящий, животный страх перед

женщиной, которая только что голыми руками остановила смерть.

— Что стоите?! — рявкнула я на помощника полицмейстера, который застыл рядом. —

Несите его в лазарет! Если кто-то ослабит этот жгут хотя бы на пол-оборота — он

умрет за сорок секунд! Вы за это ответите головой!

Помощник — сухопарый мужчина с испуганными глазами — засуетился, начал отдавать

приказы. Трифона, бледного как полотно, осторожно переложили на шинели и

понесли к дверям управы.

Я попыталась встать, но ноги подогнулись. Кровь на моих руках начала подсыхать,

стягивая кожу. Я посмотрела на Авдея. Он всё еще сидел в карете, вцепившись в

дверцу.

— Ну что, Авдей Петрович? — я криво усмехнулась, вытирая лоб окровавленным

запястьем. — Поедем в желтый дом? Или ты подождешь, пока начальник стражи

придет в себя и спросит, почему его «безумная» жена смыслит в медицине больше,

чем все твои покупные лекари?

Авдей ничего не ответил. Он захлопнул дверцу кареты и бешено закричал кучеру: —

Гони! Пошел прочь!

Лошади рванули с места, карета подпрыгнула на булыжниках и вылетела за ворота.

Он бежал. Как трусливая гиена, почуявшая силу.

— Акси́нья Николаевна... — ко мне подошел помощник полицмейстера. Теперь он

обращался ко мне по имени-отчеству. — Пойдемте. Вам... вам нужно умыться.

— В лазарет меня веди, — отрезала я. — Я должна следить за повязкой. И позовите

фельдшера, если он у вас не совсем безнадежный. Нужно шить сосуд, иначе через

час начнется некроз.

Меня повели не обратно в «яму». Повели в небольшую, чистую комнату при лазарете.

Савва, который еще утром хамил мне, теперь семенил рядом, боясь поднять глаза.

— Вот сюда, барыня... — лепетал он, открывая дверь. — Сейчас и водицы теплой, и

мыльца принесу. Вы уж... вы уж не серчайте на меня. Работа такая...

Я вошла в комнату и опустилась на жесткую кушетку. Кандалы снова звякнули,

напоминая о реальности. Я была всё еще узницей. Всё еще обвиняемой.

Но в коридоре я уже слышала шепотки стражников: — Видал? Руками в рану залезла.

И кровь-то встала... Врачиха. Настоящая врачиха, не иначе как святая.

Я посмотрела в окно. На подоконнике сидел голубь, чистя перья. Где-то там, в

Николаевском приюте, был мой сын. И теперь я знала — я до него доберусь.

Потому что сегодня я спасла не просто офицера. Я спасла свою надежду.

Трифон был мне должен жизнь. И я собиралась предъявить этот счет очень скоро.

Я прикрыла глаза, слушая, как гудит моё новое, молодое тело. Усталость

навалилась свинцовым грузом, но это была правильная усталость.

Усталость победителя.

Авдей думал, что сломал Аксиныю. Но он забыл, что иногда на пепелище вырастает

нечто гораздо более опасное, чем то, что сгорело.

— Ну что, Аксинья, — прошептала я, чувствуя, как губы трогает слабая улыбка. —

Похоже, лечебница для умалишенных сегодня отменяется. У нас с тобой еще много

дел.

Я не знала, что принесет завтрашний день. Не знала, выживет ли Трифон после

такой кровопотери. Но впервые за всё время в этом мире я почувствовала — я

справлюсь. Потому что врач остается врачом, в каком бы веке и в каком бы теле

он ни проснулся.

Глава 4

Солнечный луч, дерзко пробившийся сквозь неплотно зашторенное окно, полоснул по глазам. Я вздрогнула и инстинктивно попыталась прикрыть лицо рукой. Звяканье металла отозвалось резкой болью в ушах, но это был не тот глухой, безнадежный лязг кандалов из «ямы». Цепь на моих запястьях стала заметно длиннее и тоньше — «госпитальный» вариант, позволяющий больной самостоятельно держать ложку, но не дающий ни единого шанса на побег.

Я открыла глаза и уставилась в потолок. Чисто побеленный, без потеков и плесени.

Под спиной — не гнилая солома, а вполне приличный матрас, набитый свежим сеном.

Простыни пахли щелоком и солнцем.

«Выжила», — пронеслось в голове.

Я села, преодолевая легкое головокружение. Тело Аксины всё еще было слабым, но

в голове наконец-то прояснилось. Без новых доз «успокоительного отвара»,

которым Авдей потчевал жену, сознание становилось острым, как скальпель.

Я снова посмотрела на свои ногти. Белые полосы — те самые метки Меса —

медленно, но верно отодвигались от основания. Организм начал очистку.

Тремор в пальцах почти исчез, осталась лишь легкая слабость, которую я

подавила привычным усилием воли.

Дверь в палату скрипнула. Вошел старик в засаленном кожаном фартуке поверх

холщовой рубахи. От него за версту несло махоркой, луком и чем-то кислым,

что в этом веке, по-видимому, заменяло дезинфекцию.

— Проснулась, барыня? — прохрипел он, недоверчиво косясь на меня. — Ишь,

глаза-то какие... не как у безумной. А говорили — бесноватая.

— Как Трифон Петрович? — я проигнорировала его оценку своего психического

здоровья. Голос прозвучал сухо и властно.

Старик, которого, как я позже узнала, звали Кузьмичом, замялся, потирая нечистые

руки о фартук. — Дык... плох. Горячка у него. Я вот пришел кровь пустить, чтобы

жар-то сошел. Врач городской велел — коли метаться начнет, отворить жилу.

Я почувствовала, как внутри закипает профессиональное бешенство. — Кровь пустить? — я вскочила с кровати так резко, что Кузьмич отшатнулся. —

После такой кровопотери? Ты его в могилу в один присест отправить хочешь, дед?

— Дык... порядок такой... — забормотал он, хватаясь за медный таз. Я в два шага оказалась рядом с ним. Мои кандалы звякнули у самого его лица. —

Порядок — это спасать, а не добивать. Жгут на месте? Кузьмич, окончательно оробев перед моим ледяным спокойствием, кивнул в сторону соседней палаты, отделенной лишь тонкой перегородкой. — Там он... Спит пока.

Помощник полицмейстера велел его не трогать, но я ж по совести... Я отодвинула Кузьмича плечом и вошла к Трифону. Офицер лежал на узкой железной кровати. Лицо его было бледным, почти прозрачным, на лбу выступила испарина. Он дышал часто и поверхностно. Я подошла ближе, осторожно откинув одеяло. Повязка, наложенная вчера впопыхах, пропиталась сукровицей, но свежей крови не было. Жгут я наложила правильно, но теперь его нужно было ослаблять, иначе конечность погибнет. — Воды кипяченой! Живо! — скомандовала я, не оборачиваясь. — И чистых полотен

ниток, покрепче. Кузьмич, не стой столбом, шевелись! Старик, словно замороженный моим тоном, метнулся к выходу. Я же опустилась на табурет рядом с Трифоном и положила руку ему на лоб. Жар был, но не

критический — реакция организма на травму и кровопотерю. — Где... — Трифон внезапно открыл глаза. Взгляд был мутным, блуждающим, но как только он сфокусировался на моем лице, в нем вспыхнуло узнавание. — Купчиха... — Лежите спокойно, Трифон Петрович, — я смочила край полотенца в кувшине, стоявшем на тумбочке, и протерла ему виски. — Вы потеряли много крови.

Не дергайтесь. Он попытался приподняться, но тут же со стоном упал обратно на подушки. — Вы... вы ведь правда... руками в рану... — Пришлось, — отрезала я. — Выбирать не приходилось. Либо мой подол на жгут, либо ваш некролог в городских ведомостях. В палату ввалился Кузьмич с тазом дымящейся воды и ворохом тряпья. — Вот... всё,

как просили, барыня. Только боязно мне. Помощник придет — голову снимет за самоуправство.

— Я сама ему голову сниму, если он мне мешать будет, — я начала методично промывать рану Трифона. — Смотри сюда, Кузьмич. Видишь сосуд? Если его не перевязать правильно, жгут снять нельзя. Подавай щипцы. Чистые! В кипятке их держал?

— Держал, матушка, держал... — старик уже не спорил. Он смотрел на мои точные, экономные движения с суеверным почтением.

Для него это была магия. Для меня — рутина, которую я выполняла тысячи раз в условиях сельской амбулатории, где из ассистентов была только полуслепая санитарка. Я лигировала сосуд, аккуратно затягивая узлы. Трифон скрипел зубами, впиваясь пальцами в матрас, но не издал ни звука. Когда я наконец сняла жгут и увидела, что конечность начала розоветь, а кровотечение не возобновилось, я позволила себе выдохнуть.

— Ну вот и всё. Будете ходить, Трифон Петрович. Шрам останется, но это мужчин только красит.

Я выпрямилась, чувствуя, как ноет спина. В дверях палаты стояли стражники —

Савва и еще двое. Они не решались войти, наблюдая за «операцией» из коридора.

— Гляди-ка, — шепнул один из них. — И впрямь врачиха. Кузьмич-то наш только

клизмы ставить горазд, а эта... Вон как зашила, словно рубаху справила.

Я повернулась к ним, вытирая руки. — Савва, принеси начальнику крепкого бульона.

С яйцом. И воды побольше. Он должен пить, чтобы кровь восполнить. А себе... — я на мгновение задумалась. — Принеси мне чистую одежду. В этом шелке я скоро сама начну пахнуть как тюремная крыса.

Савва подобострастно кивнул. — Всё сделаем, Аксинья Николаевна. Всё в лучшем виде. Вы уж... если у меня поясницу прихватит, посмотрите? А то мочи нет, на постах стоять.

— Посмотрю, — пообещала я. — После того, как начальник в себя придет.

Статус «Врачи́хи» окончательно закрепился за мной. Теперь я была не просто опасной преступницей, а ценным ресурсом. А ресурсам в этом мире прощают многое.

Через час, когда Трифон забылся тяжелым, но уже спокойным сном, в управу прибыл гонец. Я видела его из окна коридора — молодой парень в ливрее Коробовых. Он что-то долго и горячо объяснял помощнику полицмейстера, размахивая какими-то бумагами.

Вскоре помощник, человек с кислым лицом и вечно потными ладонями, зашел в лазарет. — Акси́нья Николаевна, тут вот... супруг ваш... Авдей Петрович прислал официальную жалобу. Мол, вы незаконно здесь удерживаетесь, и состояние ваше требует немедленного перевода в лечебницу. Свидетели, мол, подтверждают ваше неистовство.

Я посмотрела на него так, что он невольно сделал шаг назад. — Неистовство? Это когда я жизнь вашему начальнику спасала? Или когда я сейчас ему сосуд сшивала, пока ваш Кузьмич кровь ему пустить пытался?

— Дык я понимаю... но закон... — пролепетал помощник.

— Я сам — закон в этой управе, — раздался слабый, но удивительно властный голос из палаты.

Трифон проснулся. Он приподнялся на локтях, тяжело дыша. — Авдею Коробову передайте... что жена его находится под следствием в связи с нападением на должностное лицо. Она — главный свидетель. Никакой лечебницы, пока я не дам распоряжение. Пошел вон!

Помощник буквально вылетел из комнаты. Трифон откинулся на подушки, закрыв глаза. — Спасибо, — прошептал он. — Но вы ведь понимаете, Акси́нья, что он не отступится.

Я подошла к его кровати. — Я понимаю больше, чем вы думаете. Посмотрите на мои ногти, Трифон Петрович. Вы вчера спрашивали, откуда у купчихи такие знания. Он взял мою руку своей — горячей и сухой. Внимательно осмотрел белые полосы. —

Что это?

— Это — следы мышьяка. Хроническое отравление. Авдей травил меня месяцами. Это

он вызывал мои «безумные речи». А когда я узнала, что он сделал со свекром —

он решил спрятать меня в желтый дом.

Трифон молчал. Его взгляд стал холодным и расчетливым. Он был офицером, и он

любил факты. То, что он видел — мои профессиональные навыки и эти странные

метки — складывалось в логическую картину, в которой Авдей Коробов выглядел

совсем не так, как подобает безутешному вдовцу.

— Мне нужно доверенное лицо, Трифон Петрович, — я понизила голос. — Авдей купил

всех в этом городе. Мне нужен адвокат или кто-то, кто не боится его денег. Я

должна выйти отсюда, чтобы найти... одну важную вещь. И одного человека.

Трифон сжал мои пальцы. — Вы никуда не выйдете, пока я не разрешу. Вы — под моей

охраной. Считайте, что я — ваше доверенное лицо. Но если вы мне солгали хоть в

одном слове... если эти ваши «метки» — хитрость... я лично затяну петлю на вашей

красивой шее.

Я не отвела взгляда. — Договорились. У вас неделя, чтобы встать на ноги. У меня

неделя, чтобы доказать вам свою правоту.

Я отошла к окну. Внизу, у ворот управы, я увидела знакомую карету. Черный лак

блестел на солнце, словно спина ядовитого жука. Авдей кружил вокруг лазарета, как стервятник, понимая, что его идеальный план начал рассыпаться.

«Жди, Авдейка, — подумала я, прижимая лоб к прохладному стеклу. — Врачиха идет.

И на этот раз наркоза не будет».

Впервые за всё время в этом мире я почувствовала, что весы качнулись в мою

сторону. Но я также знала: раненый зверь опасен вдвойне. И Авдей Коробов

еще не показал свои истинные зубы.

Глава 5

Шелковое платье, некогда стоившее целое состояние, теперь лежало на полу бесформенной кучей синего мусора. Я смотрела на него без тени сожаления.

Для Аксиньи это была броня, которая не защитила; для меня — улика чужого, навязанного безумия. Жемчужины, оторванные в суматохе вчерашнего дня, тускло поблескивали в щелях между половицами, словно слезы.

Савва притащил то, что я просила: простое платье из серого домотканого сукна и широкий холщовый фартук. Одежда горничной или бедной горожанки, но для меня она ощущалась как настоящая хирургическая форма.

Я натянула грубую ткань, чувствуя её шероховатую честность. Затянула пояс, расправила складки. В маленьком мутном зеркале, висевшем над умывальником, отразилась женщина, которую я наконец-то начала узнавать. Румянец медленно возвращался к щекам — верный знак того, что токсины мышьяка понемногу вымываются из кровотока. Но главное — взгляд. В тридцатилетних глазах Аксиньи теперь жил пятидесятилетний опыт Раисы Сергеевны, и этот сплав делал мой облик почти пугающим.

Я заплела волосы в тугую, тугую косу, уложив её вокруг головы. Никаких локонов, никаких лишних шпилек. Руки должны быть свободны, голова — ясна.

— Ну, Аксинья... — прошептала я своему отражению. — Посмотрим, как они запоют, когда увидят не затравленную овечку, а волка в овечьей шкуре.

Я вышла в коридор лазарета. У дверей палаты Трифона стоял стражник — незнакомый парень, который при моем появлении вытянулся во фрунт и невольно прижал руку к эфесу сабли. Видимо, легенда о «Врачихе, которая руками кровь останавливает», уже успела обрасти подробностями.

Я вошла без стука.

Трифон Петрович сидел в постели, обложенный подушками. Перед ним на коленях лежал массивный планшет с бумагами, а в руке он держал перо. Лицо его всё еще хранило ту мертвенную бледность, которая бывает после массивной

кровопотери, но взгляд уже обрел свою привычную стальную остроту.
— Трифон Петрович, — я подошла к кровати и, не дожидаясь приглашения, выхватила планшет у него из рук. — Я разве давала разрешение на работу?
Он замер, удивленно приподняв бровь. — Аксинья Николаевна... вы ли это? — он окинул взглядом мое серое платье. — Выглядите как... как сестра милосердия из столичного госпиталя.
— Я выгляжу как человек, который собирается вас лечить, — я отложила бумаги на тумбочку. — А пациентам положен покой, усиленное питание и свежий воздух. А не чернильная пыль и государственные тайны.
— Мои раны — не повод для безделья, — он попытался вернуть планшет, но я легонько хлопнула его по руке. — В городе беспорядки, Авдей Коробов пишет жалобы во все инстанции, а вы... вы ведете себя так, будто вы здесь хозяйка.
— В этом лазарете я — единственный человек, который понимает, почему ваше сердце еще бьется, — я начала методично разматывать повязку на его бедре. — Так что извольте слушаться. Если я скажу лежать — будете лежать. Если скажу пить отвар шиповника — будете пить и просить добавки. Ваша жизнь — это теперь моя зона ответственности.
Трифон вдруг замолчал. Его забавляла моя дерзость, но в глубине его глаз я видела нечто иное — уважение. Мужчины его склада ценят силу, даже если она исходит от женщины в сером сарафане.
Рана выглядела на удивление хорошо. Никакого воспаления, края начали стягиваться. Я осторожно обработала кожу, отмечая, что Трифон даже не поморщился, хотя процедура была болезненной.
Когда я закончила и начала накладывать свежий бинт, Трифон попытался сменить положение. Он невольно охнул и схватился за вторую, здоровую ногу.
— Осторожнее, — я придержала его за плечо. — Почему вы хромаете на левую ногу, если ранена правая?
— Старая отметина, — он поморщился, откидываясь на подушки. — Под Плевной

досталось. Осколок засел глубоко, костоправ вытащить не смог, так и ношу в себе подарок от турок. В сырую погоду ноет так, что хоть жилу рви. Я не раздумывая закатала штанину его левой ноги. Выше колена багровел старый, грубый рубец. Кожа вокруг него была горячей и чуть припухшей. Хронический остеомиелит или просто застарелый инфильтрат.

— Вы ведь мучаетесь годами, — я осторожно прощупала ткани. — У вас там вялотекущее воспаление. Именно поэтому вы так ослабили после вчерашнего. Старый враг подточил силы изнутри.

Трифон посмотрел на меня с подозрением. — И что же? Вы и это можете исправить? Я подняла взгляд, и в моей голове мгновенно созрел план. План сделки. — Могу. Я знаю состав мази, которая вытянет дрянь и заставит осколок выйти самому или хотя бы снимет боль навсегда. Но у меня есть условие, Трифон Петрович.

Офицер усмехнулся, в глазах блеснул азарт. — Сделка? Ну, слушаю. Что хочет Врачиха за мое избавление от боли?

— Я вылечу вашу старую рану. Я поставлю вас на ноги за неделю. Но за это вы дадите мне прочитать материалы моего дела. Все допросы, все описи, все показания свидетелей по делу об отравлении Петра Коробова. Я хочу знать, какими нитками Авдей шил этот саван.

Трифон долго молчал, барабанил пальцами по краю одеяла. Я видела, как он взвешивает риски. С одной стороны — устав, с другой — невыносимая боль, которая мешает ему служить. И, возможно, зарождающееся доверие к женщине, которая видит его насквозь.

— Вы очень опасная женщина, Аксинья, — наконец произнес он. — Но я принимаю ваши условия. Папка лежит в моем сейфе, в кабинете помощника. Савва принесет её вам через час. Но помните: если об этом узнают — я не смогу вас защитить.

Малая ординаторская лазарета встретила меня запахом сушеных трав и пыли. Савва, воровато оглядываясь, принес тяжелую папку, перевязанную грубой бечевкой.

— Вот, барыня... Начальник велел. Только вы уж... быстро. А то пристав придет — беды не оберешься.

Я кивнула и погрузилась в чтение.

Как врач, я привыкла работать с симптомами и фактами. То, что я видела на

бумаге, вызывало у меня горькую усмешку. Следствие велось из рук вон плохо. Описание смерти Петра Коробова было подробным: «судороги, рвота черным, резкие боли в животе, смерть через три часа после приема пищи». «Три часа», — отметила я. У Аксины нашли склянки с разбавленным мышьяковым настоем. Чтобы убить крепкого старика таким составом, нужно было поить его литрами в течение недели. Но описание смерти указывало на острую интоксикацию огромной разовой дозой. Порошок. Скорее всего, подсыпанный в еду или питье непосредственно перед приступом. Авдей действовал грубо, торопливо. Он рассчитывал на то, что Аксиныя будет слишком напугана и одурманена ядом, чтобы заметить нестыковки. Особенно меня зацепили показания экономки, Марфы Степановны. Она утверждала, что видела, как барыня «что-то сыпала в сбитень дедушке». «Ложь», — подумала я. В тот день, согласно записям в той же папке, Аксиныя была в беспамятстве после «очередного припадка». Она физически не могла дойти до кухни. Но пристав «не обратил внимания» на этот факт. — Длинные руки у тебя, Авдейка, — прошептала я, закрывая папку. — Но мозг, видать, жиром заплыл от жадности. Вечерний обход я проводила уже в сумерках. В лазарете было тихо, только где-то на первом этаже храпел стражник. В палате Трифона горела одна лампа, отбрасывая длинные, пляшущие тени на стены. Трифон выглядел лучше. Лицо порозовело, он даже съел порцию бульона, которую я потребовала. — Прочитали? — спросил он, когда я подошла поправить ему одеяло. — Прочитала. Если бы это было в моем времени, Авдей сел бы на скамью подсудимых через десять минут после начала следствия. — В вашем времени? — он ухватился за мои слова. — Вы иногда говорите странные вещи, Аксиныя. Словно вы... не отсюда. Я присела на край табурета. В комнате было уютно, несмотря на тюремные стены. — Иногда мне и самой так кажется, — ответила я уклониво. — Трифон Петрович,

почему вы мне помогаете? Это ведь риск для вашей карьеры.

Он вздохнул, глядя в окно на высыпавшие звезды. — Моя мать умерла десять лет

назад. Она долго болела, а врачи... они только спорили о названиях её недуга.

Каждый прописывал свое: один — ртуть, другой — кровопускание, третий — ледяные

ванны. Они залечили её до смерти, Акси́нья. Я видел, как она угасает, и ничего

не мог сделать.

Он повернулся ко мне, и я увидела в его глазах глубоко запрятанную боль. — Когда

я увидел вас в камере... я подумал: «Опять безумная баба». Но когда вы начали

командовать стражей во время моего ранения... я увидел не безумие. Я увидел

знания. И волю. Такую волю я видел только у великих полководцев. Вы не просто

«врачиха». Вы — человек, который не боится брать на себя право решать: кому

жить, а кому умирать. Это пугает, но это и... притягивает.

Я не знала, что ответить. Его признание было слишком честным для этого мира

масок и чинов.

— Берегитесь, Акси́нья, — он вдруг сжал мою руку. — Авдей Коробов не сидит сложа

руки. Он пытается подкупить губернатора. Хочет, чтобы меня отозвали в столицу

для «срочного доклада». Если я уеду — он заберет вас в тот же час.

Я почувствовала, как по спине пробежал холодок. — Я знаю. Но я не собираюсь

сидеть и ждать.

В этот момент дверь скрипнула. Вошел Савва с подносом. — Ужин ваш, Акси́нья

Николаевна. Кухарка велела передать, что сегодня пирог с рыбой удался.

Я кивнула, Савва поставил поднос на стол в углу и поспешно вышел.

Я подошла к столу, собираясь перекусить, но замерла. Рядом с тарелкой, прямо на

чистой салфетке, лежал цветок. Засохшая, пожелтевшая лилия.

У Акси́ньи перехватило дыхание. Память тела сработала мгновенно: Авдей всегда

дарил ей белые лилии перед тем, как заставить выпить «лекарство». Для него

это был знак его «любви» и полного контроля над ней.

Это было послание. «Я рядом. Я слежу за тобой даже здесь. Ты всё еще

принадлежишь мне».

— Что там? — Трифон заметил мою заминку.

Я взяла цветок за хрупкий стебель. Он рассыпался в моих пальцах, превращаясь в

серую пыль. — Подарок от мужа, — ответила я, и мой голос был ледяным. —

Напоминание о том, что у него везде есть уши и руки.

Я не стала звать Савву и устраивать допрос — это было бесполезно. Шпионом мог

быть кто угодно: от кухарки до помощника пристава.

Вместо этого я подошла к печи, стоявшей в углу палаты, и бросила остатки лилии в

огонь. Сухие лепестки вспыхнули мгновенно, оставив лишь горсть пепла.

— Ну что же, Авдейка... — прошептала я, глядя на пляшущее пламя. — Лилии

кончились. Теперь моя очередь ставить тебе диагноз. И поверь, он тебе

не понравится.

Я обернулась к Трифону. Тот смотрел на меня серьезно и напряженно. — Завтра мы

начнем лечить вашу старую рану, Трифон Петрович. Мне нужны силы. И вам — тоже.

Потому что скоро нам обоим придется выйти из этого лазарета.

Я села за стол и начала есть. Пирог был холодным, но я не замечала вкуса. В моей

голове уже выстраивалась схема первой линии обороны. Я не была больше жертвой. Я

была врачом, который готовится к сложной операции по удалению злокачественной

опухоли. И эта опухоль носила имя Авдея Коробова.

Глава 6

Раннее солнце пробивалось сквозь узкое окно лазарета, высвечивая в воздухе мириады пылинок. Я стояла у окна, наблюдая, как во дворе управы дворник лениво машет метлой. Мои руки больше не дрожали. Без ежедневной порции мышьяка, которой Авдей приправлял мой утренний чай, мир обрел резкость, а мысли — пугающую ясность.

Сегодня был день боя. Я чувствовала это кожей, каждой клеточкой своего нового, удивительно послушного тела.

— Акси́нья Николаевна, — раздался сзади тихий, хриплый голос.

Я обернулась. Трифон Петрович сидел на краю кровати. На нем был мундир — застегнутый на все пуговицы, несмотря на повязку, которая явно тянула кожу под сукном. Лицо его было бледным, но челюсти сжаты так, что желваки ходили ходуном. Он пытался выглядеть официальным лицом, хозяином положения, но я видела, как предательски подрагивают его пальцы, когда он пытался справиться с верхней пуговицей.

— Сидите, горе вы моё луковое, — я подошла к нему и мягко, но решительно отвела его руки. — Опять швы разойдутся, и кто вас будет латать? Кузьмич со своими пиявками?

Я начала застегивать пуговицы его мундира. Мои пальцы касались холодного металла и теплой, плотной ткани. Я чувствовала, как под моими ладонями гулко и часто бьется его сердце. На мгновение наши взгляды встретились. В его глазах — темных, как грозовое небо — плеснуло что-то такое, от чего у меня перехватило дыхание. Не страх, не подозрение. Это было узнавание.

Словно он видел не купчиху-травительницу, а ту, кем я была на самом деле.

— Авдей прибыл, — негромко сказал он. — С ним нотариус. Они внизу, в приемной палате. Требуют личной встречи для решения «семейных дел».

— Пусть заходят, — я затянула последнюю пуговицу и расправила воротник его мундира. — Я готова.

— Аксинья, — он перехватил мою руку. Его ладонь была горячей. — Помните, что я рядом. Даже если я буду молчать — я за вашей спиной. Не давайте ему сбить вас с толку. Он будет бить по самому больному.

Я кивнула, благодарно сжав его пальцы в ответ.

Приемная палата лазарета пахла карболкой и безнадеей. Авдей Коробов вошел первым — шумный, уверенный, пахнувший дорогим табаком и каким-то приторным, липким парфюмом. На нем был новый сюртук из тонкого сукна, на пальце сверкал массивный перстень. Он выглядел как человек, который только что выиграл миллион в лотерею и пришел забрать свой приз.

Следом за ним семенил нотариус — сухой, сморщенный человечек в поношенном фраке, с папкой, прижатой к груди, как драгоценное сокровище.

— Аксиньюшка! Душа моя! — Авдей всплеснул руками, изображая на лице такую скорбь, что меня едва не стошнило. — Слава Богу, жива! Я ночи не спал, всё молился за твое здравие. Как же ты напугала нас всех своим... недугом. Он попытался подойти ближе, но Трифон Петрович, стоявший у стены, едва заметно качнулся вперед, и Авдей остановился. Его взгляд на мгновение метнулся к офицеру, в нем промелькнула тень досады, но он тут же снова нацепил маску добродетели.

Я смотрела на мужа глазами врача. Желтоватые белки глаз — печень не справляется, Авдейка, слишком много столичного шампанского. Мелкий тик левого века — нервишки пошаливают. И этот специфический, едва уловимый запах... старая болезнь, которую он тщательно скрывает за парфюмом.

— Брось, Авдей, — сказала я, садясь на жесткий стул. — Тут нет зрителей. Оставь эти причитания для своих рыжих девок. Зачем пришел?

Авдей на мгновение опешил. Его «сумасшедшая» жена всегда либо плакала, либо забивалась в угол, когда он повышал голос. Такого ледяного тона он не ожидал.

— Ох, совсем разум помутился... — он сокрушенно вздохнул, переглянувшись с нотариусом. — Видите, господин Сокольский? Сама не своя. Но я, как муж и

опекун, не могу оставить её в беде. Забота́сь о твоей грешной душе, Акси́нья, и о твоём покое, я подгото́вил бума́ги. Лека́рь подтве́рдил — тебе́ нужен монасты́рский покой. Тишина, моли́тва... Там тебя́ подлечат.

Нотари́ус торопли́во выложи́л на стол кипу́ бума́г. — Вот-с, Акси́нья Николаевна.

Доброво́льное согла́сие на передачу́ упра́вления де́лами торго́вого дома́ вашему́ супру́гу, Авде́ю Петро́вичу. И проше́ние в Сино́д о вашем у́ходе в Свято-Трои́цкую оби́тель под опе́ку насто́ятельницы.

Я взя́ла бума́ги. Мои́ пальцы́ привы́чно ско́льзили по стро́чкам. Раи́са Серге́евна из двадца́того пер́вого ве́ка уме́ла чита́ть догово́ры — жизнь на́учила, когда́ райбо́льницу пыта́лись привати́зировать ме́стные воро́тилы.

Авде́й хоте́л всего́. Мануфа́ктуры, горо́дские ла́вки, скла́ды, банко́вские сче́та в Петро́бурге. Он вычи́щал Акси́нью досу́ха, оста́вляя ей́ лишь́ пра́во на «ке́лью и पो́стные щи».

Я чита́ла ме́дленно, чув́ствуя, как Авде́й начина́ет нервни́чать. Он перемина́лся с но́ги на но́гу, погля́дывая на ча́сы. — Ну что ты там высма́триваешь, Акси́нья? Ты же букв-то́ нико́гда не жало́вала. Подпи́ши, и пое́дем. Каре́та жде́т, мя́гкая, с поду́шками...

Я до́шла до ко́нца спи́ска иму́щества. И вдруг за́мерла. — Ольхо́вка, — произнесла́ я вслу́х. — Почему́ здесь́ нет Ольхо́вки?

Авде́й скриви́лся, сло́вно откуси́л лимо́н. — Ольхо́вка? Э́ти руи́ны твое́й мату́шки? Ко́му они́ сда́лись, Акси́нья? Там же́ ка́мни оди́ны да боло́то. Я их да́же в опи́сь не вклю́чал — то́лько бума́гу ма́рать.

— Вклю́чи, — я подня́ла на него́ взгля́д. — Впи́ши Ольхо́вку в спи́сок моего́ лич́ного иму́щества, кото́рое не пере́ходит под твоё упра́вление.

Авде́й расхо́хотался — громко́, хри́пло. — Да за́бирай! Хо́ть че́рту лы́сому отда́вай э́ту ды́ру. Госпо́дин нотари́ус, впи́шите, что уса́дба Ольхо́вка оста́ется в еди́ноличном вла́дении госпо́жи Коре́бовой. Пу́скай там воро́н лечи́т, раз ей́ так у́годно.

Нотари́ус бы́стро за́скрипел перо́м. Я ви́дела, как Авде́й торже́ствующе́ блесну́л глаза́ми. Он счита́л, что обхи́трил меня́. О́тдал беспо́лезные руи́ны в о́бмен на

миллионное состояние торгового дома.

Я взяла перо. Моя рука была твердой. Подпись Аксиньи была витиеватой, с массой

завитушек, но я вывела её четко, с сильным нажимом.

— Всё, — я отодвинула бумаги. — Городские лавки — твои. Заводы — твои. Счета —

твои. Я уйду из твоего дома, Авдей. Но не в монастырь.

— Это еще почему? — Авдей схватил бумаги, любовно поглаживая печати. — Договор

подписан! Ты теперь — ничья, Аксинья. У тебя ни гроша за душой. Либо

монастырь, либо лечебница.

— Ни то, ни другое, — я встала. — Трифон Петрович, будьте добры, зачитайте

решение следственного комитета.

Трифон Петрович шагнул из тени. Он выглядел внушительно, несмотря на бледность.

— В связи с вновь открывшимися обстоятельствами и состоянием здоровья

подозреваемой, содержание Аксиньи Коробовой под стражей заменяется на

домашний арест по месту жительства. А именно — в усадьбе Ольховка. Под мою

личную ответственность и надзор полиции.

Лицо Авдея начало медленно наливаться багровым цветом. — Какой арест? Какая

Ольховка?! Я её муж! Я решаю!

— Вы больше ничего не решаете в отношении её личности, Авдей Петрович, — Трифон

чеканил слова, как монеты. — Вы только что приняли на себя управление её

капиталом в обмен на её свободу. Бумаги у вас в руках. Вы сами

согласились, что она дееспособна для подписания договора, не так ли?

А раз она дееспособна — она вольна выбирать место жительства для своего ареста.

Авдей открыл рот, как рыба, выброшенная на берег. Он попал в ловушку собственной

жадности. Если бы он признал меня сумасшедшей сейчас — все подписанные бумаги о

передаче имущества стали бы недействительными.

— Ты... ты стерва... — прошипел он, делая шаг ко мне. — Ты думаешь, ты самая умная?

Ты в этой Ольховке с голодудохнешь через месяц! Там ни крыши, ни хлеба!

Я подошла к нему вплотную. Нотариус в ужасе вжался в стену. Авдей попытался

отшатнуться, но я стальной хваткой вцепилась в его запястье. Мои пальцы

легли точно на его пульс.

— Слушай меня внимательно, Авдейка, — прошептала я ему прямо в лицо. Мой голос был тихим, как шелест змеи в траве. — У тебя пульс нитевидный, а на шее слева — темное пятно, которое ты пудрой замазываешь. Ты думаешь, это от столичного веселья? Нет, дорогой. Это твоя смерть за тобой пришла. Та самая «нехорошая» болезнь, которой ты так боишься.

Авдей побледнел. Его глаза расширились от суеверного ужаса. Он попытался вырвать руку, но я держала крепко.

— Тебе осталось недолго быть хозяином моих заводов, — продолжала я. — Твои кости скоро начнут гнить, а разум — мутиться по-настоящему. И когда ты начнешь выть от боли, вспомни этот день. Я могла бы тебя вылечить, Авдей. Только я знаю рецепт.

Но я уезжаю в Ольховку.

— Ведьма! — выдохнул он, наконец вырвав руку. Его трясло. — Ты врешь! Лекарь

сказал — это просто простуда!

— Лекарь твой — недоучка, — я презрительно усмехнулась. — Иди, Авдей. Трать мои деньги на своих девок. Только помни — золото саван не зашьет. Авдей, не оглядываясь, бросился к двери. Нотариус, похватав бумаги, выскочил

следом, едва не сбив с ног Савву, стоявшего в дверях.

В палате воцарилась тишина. Я стояла, тяжело дыша, чувствуя, как адреналин

медленно покидает кровь.

— Это было жестоко, — раздался голос Трифона Петровича.

Я обернулась. Он смотрел на меня с нескрываемым восхищением и легким опасением.

— Жестоко — это травить жену мышьяком три месяца, Трифон Петрович. А я просто поставила диагноз. Бесплатно.

— Вы правда отдали ему всё? — он подошел ближе. — Мануфактуры, лавки... Вы понимаете, что Ольховка — это действительно руины? Там только стены

остались и пара стариков-слуг, которые доживают свой век.

Я посмотрела на свои ладони. На них больше не было кандалов. Кожа была чистой, и

я чувствовала силу в своих пальцах. — Я купила себе право дышать, — ответила я.

— Деньги — это пыль. Я — врач. Я умею делать мази из придорожной травы и

спасать жизни там, где другие заказывают панихиду. Я не пропаду. У меня

есть знания, которые стоят дороже всех мануфактур Коробовых.

Трифон молчал. Он смотрел на меня так, словно видел впервые. — Завтра утром

карьета будет готова, — наконец сказал он. — Я сам провожу вас. Мой приказ о

надзоре позволяет мне находиться в Ольховке до тех пор, пока моя рана не заживет

окончательно.

Я улыбнулась. Впервые за всё это время — искренне и тепло. — Значит, будем

лечить вашу ногу на свежем воздухе, Трифон Петрович. Готовьтесь — в

Ольховке я спускаю вам не дам. Будете у меня на костылях по саду гулять,

пока кость не окрепнет.

— Слушаюсь, госпожа Врачиха, — он чуть склонил голову, и в его глазах блеснула

ответная улыбка.

Я подошла к окну. Там, за чертой города, лежала моя новая жизнь. Ольховка. Моя

крепость, моя лаборатория, моё будущее. Я знала, что будет трудно. Знала, что

Авдей не оставит меня в покое. Но впервые за пятьдесят лет старой Раисы и

тридцать лет молодой Аксины я чувствовала — я дома.

Цепи пали. Начиналось время исцеления.

Глава 7

Вы правы. Это классический «авторский ляп» — когда в голове автора план уже перескочил на следующий этап, а персонаж в тексте совершает действия, которые противоречат уже принятым решениям. Как «бизон литературы», я обязан это исправить.

В конце Главы 6 они уже договорились, что едут вместе. Значит, в Главе 7 она не должна давать Кузьмичу инструкции «как ухаживать за Трифоном в её отсутствие».

Она должна давать их «на будущее» (как выписной эпикриз) или давать общие наставления по медицине для лазарета, пока её не будет.

Давай перешьем этот момент, чтобы Раиса выглядела еще более профессионально и логично.

Исправленная Глава 7. «Шахматная партия: Последствия»

Утро после сделки принесло странное, почти забытое чувство — тишину в мыслях.

Больше не было того липкого, мышьякового тумана, который заставлял Аксиныю сомневаться в реальности каждого шага. Я сидела на краю лазаретной койки, глядя на свои ладони. Бледные, с тонкими венами, они казались мне теперь не просто частью тела, а инструментом.

В кармане серого платья я нащупала серебряную пуговицу с острым краем. Та самая, которой я вскрыла флегмону Глафире. Для любого другого это был просто кусок металла, для меня — первый скальпель в этом мире и символ того, что Раиса Сергеевна здесь не пропадет.

«Все считают меня дурой, — подумала я, вспоминая перекошенное от жадности лицо Авдея. — Отдала заводы, склады, золото за кусок выжженной земли и полусгнивший дом. Но они не понимают: я купила себе право не оборачиваться».

Дверь скрипнула, и в палату вошел Кузьмич. Старик выглядел пришибленным. Он принес мне завтрак — кашу и кусок черствого хлеба, но поставил поднос так осторожно, словно на нем лежала хрустальная ваза.

— Вот, матушка... подкрепитесь перед дорогой-то, — прохрипел он, не поднимая глаз.

— Уезжаете ведь. И начальник с вами... Опустеет лазарет.

Я жестом подозвала его ближе. — Кузьмич, сядь. Поговорить надо.

Старик примостился на край табурета. Я достала из-под подушки клочок бумаги, на

котором за ночь набросала основные правила.

— Слушай меня внимательно, Кузьмич. Мы с Трифоном Петровичем уезжаем, но лазарет

на тебе остается. Я тебе тут «заповедь» написала — как воду кипятить, как тряпки

прожаривать, прежде чем к ране прикладывать. И вот это, — я протянула ему второй

листок, — выписной лист на начальника. Если он вернется в город без меня, а рана

снова заново — покажешь это городскому лекарю. Тут по-латыни написано, что я

делала и какие сосуды шила. Чтобы ни одна душа не вздумала ему кровь пускать

или пиявками сосуд тревожить. Понял?

Кузьмич закивал так рьяно, что едва не свалился с табурета. — Понял, Аксиныя

Николаевна... Оградим начальника от коновалов, коли вернется. А про воду — в

память вбил. Чистота — она, выходит, первое дело?

— Первое, Кузьмич. И руки мой, прежде чем к больному соваться. Иначе ты не

лекарь, а пособник смерти.

Я смягчила голос. Я знала, что Трифон едет со мной, но оставить этот лазарет в

том дремучем состоянии, в котором нашла, мне не позволяла совесть. Даже если я

сюда никогда не вернусь, я оставила здесь зерно настоящей медицины.

— И еще... — Кузьмич наклонился ближе, обдав меня запахом махорки. — Берегитесь

на дороге-то. Авдей-то злой, как пес бешеный. Слышал я, как он приставу шипел:

«тракт длинный, а разбойников нынче много». Карета ваша приметная, хоть и

под конвоем пойдете.

Я сжала пуговицу в кармане. Значит, Авдейка всё же рискнет.

К Трифону я зашла через час. Он уже был одет в мундир, хотя каждая попытка

поправить воротник давалась ему с трудом — лицо бледнело, а на лбу

выступала испарина. Он сидел в кресле, глядя на пустой сейф — документы

были уже упакованы.

— Решили проверить, не передумал ли я ехать в вашу «глухомань»? — он попытался

улыбнуться, но вышло кривовато.

— Решила проверить, не собираетесь ли вы развалиться по дороге, — я подошла и бесцеремонно расстегнула пару пуговиц на его мундире, проверяя край повязки.

Кожа была прохладной, воспаления нет. — Швы держат. Но ехать придется полулежа,

Трифон Петрович. Я велела Савве уложить в карете побольше подушек и соорудить

подобие кушетки. Тряска на тракте — ваш главный враг сейчас.

Он перехватил мою руку. Его пальцы были сухими и сильными, несмотря на слабость.

— Вы распоряжаетесь в моей управе так, словно уже получили чин надворного

советника, Аксинья. Савва бежит за подушками, Кузьмич бормочет про

кипяток... Вы меняете всё, к чему прикасаетесь.

— Я просто привыкла, что пациенты меня слушаются, — я посмотрела ему прямо в

глаза. — Авдей, говорят, к трем лекарям за ночь бегал. Всё пятна на шее

искал.

— Вы рискуете, — Трифон стал серьезным. — Он в ярости. Кузьмич, верно, уже напел

вам про «разбойников» на тракте? Не бойтесь. Я не из тех, кто отпускает своего

спасителя на растерзание. Со мной пойдут четверо моих лучших казаков. Под

видом конвоя. Мы доедем до Ольховки в целости.

Перед самым выходом я добилась разрешения спуститься в подвальный этаж — туда,

где остались Глафира и Марфа. Савва вел меня, гремя ключами, и теперь в его

походке не было прежней развязности.

У решетки Глафиры я остановилась. Баба выглядела неплохо — рука была

перебинтована чистой тряпицей, отек сошел.

— Уезжаешь, барыня? — Глафира поднялась с соломы. Её голос теперь звучал хрипло,

но без прежней злобы.

— Уезжаю, Глаша. В Ольховку. Тебе мазь оставила у Кузьмича, он передаст. Мажь

края, пока корка не отпадет.

Глафира подошла вплотную к решетке. Оглянулась на Савву, который деликатно

отвернулся, и вдруг просунула руку сквозь прутья. В её кулаке что-то

блеснуло. — На, возьми. Это подарок от нас... каторжных.

Я почувствовала на ладони холодный металл. Это был массивный, старый ключ с замысловатая бородкой. — Что это?

— Ключ от архива управы, — шепнула она. — Савва спьяну обронил неделю назад, а я припрятала. Там, в архиве, записи за тридцать лет лежат. И про приюты, и про смерти, что шито-крыто прошли. Тебе нужнее, Врачиха. Ты нас за людей посчитала, когда мы в говне тонули. Ты сына ищи... В Николаевском-то приюте дети как свечки гаснут, но экономка Коробовых туда раз в месяц корзины возит. Жив твой малец, сердцем чую.

Я сжала ключ. Тяжелый, настоящий. — Спасибо, Глаша. Я не забуду. В приемной палате меня ждал нотариус Сокольский. Он протянул мне кипу бумаг, перевязанных лентой, и посмотрел на меня с нескрываемой жалостью.

— Вот-с, Аксинья Николаевна. Копии актов о передаче прав собственности. Ольховка теперь ваша безраздельно. Но позвольте дать совет... старого человека. Продайте её по весне. Ольховка — это гиблое место. Там мать ваша... странная была. И дом тот... нехороший.

Я забрала бумаги, аккуратно уложив их в старую кожаную шкатулку, которую Авдей милостиво велел вернуть «сумасшедшей». Там были письма моей матери и её старый рецептурник — единственное, что имело для меня ценность.

— Спасибо за совет, господин Сокольский, — я выпрямилась, и мой голос заставил его вздрогнуть. — Но я не привыкла продавать свое наследство. А «гиблые места» часто оказываются самыми плодородными, если знать, как их возделывать.

Я вышла на крыльцо управы. Ослепительное полуденное солнце заставило меня зажмуриться.

На площади собралась толпа. Любопытные горожане шептались, тыкали пальцами.

«Врачи́ха! Та самая... барыня-травительница... начальника спасла...».

Я видела карету Авдея. Она стояла в тени старой липы. Шторка на окне была отодвинута, и я кожей чувствовала его взгляд — тяжелый, лихорадочный, полный ненависти и суеверного страха. Он смотрел на меня как на восставшего мертвеца.

Я не подарила ему даже кивка.

Трифон уже ждал в нашей карете. Четверо рослых казаков на конях выстроились по бокам. Это было не конвоирование преступницы, это был выезд королевы из изгнания.

Я поднялась по ступенькам. Внутри кареты Савва действительно постарался — на одной из скамей был сооружен мягкий настил из подушек и одеял. — Располагайтесь, — я кивнула Трифону, который уже полулежал, вытянув раненую ногу. — И не вздумайте вскакивать, если на кочке тряхнет. — Слушаюсь, госпожа Врачиха, — он чуть склонил голову, и в его глазах блеснула ответная улыбка.

Карета дернулась и покатила по булыжной мостовой. Я смотрела в окно, как мимо проплывают знакомые и одновременно чужие улицы города.

Вдруг, когда мы уже выезжали за городские ворота, к карете подбежал нищий — старик в лохмотьях. Он ловким, совсем не старческим движением забросил в

открытое окно свернутый клочок бумаги и тут же растворился в толпе. Я подняла записку. Бумага была дешевой, серой. На ней корявым почерком было выведено: «В Ольховке тебя ждут не только руины. Берегись подвала. Там то, что Авдей не нашел, а мать твоя спрятала».

Я перечитала записку дважды. Рука невольно сжалась. — Что там? — Трифон заметил, как я изменилась в лице.

— Привет из прошлого, — я спрятала бумагу за корсаж платья. — Похоже, Ольховка готовит нам сюрпризы поинтереснее, чем протекающая крыша.

Я откинулась на спинку сиденья. Карета выехала на тракт, и перестук колес по

камням сменился мягким шуршанием по пыльной дороге. Впереди была

неизвестность, засады на дорогах и разрушенное имение. Но за моей

спиной был опыт пятидесяти лет выживания и знания, способные победить даже смерть.

Я закрыла глаза, слушая ритм дороги. Где-то там, за лесами, был мой сын. И

теперь я знала — я его найду. Даже если мне придется перекопать всю

Ольховку до самого основания.

Врачиха возвращалась домой. И на этот раз она была готова к любой войне.

Глава 8

Колеса кареты мерно выбивали чечетку на разбитом тракте, и каждый толчок отзывался в моем теле глухим стоном старых рессор. Внутри пахло дорожной пылью, нагретой кожей сидений и горьковатым духом полыни, который затягивало в приоткрытое окно. Но сильнее всего я чувствовала другой запах — запах запекшейся крови и свежих бинтов, исходивший от Трифона. Он лежал напротив меня, вытянувшись на импровизированной кушетке из подушек. Его лицо, обычно суровое и непроницаемое, сейчас казалось высеченным из серого мела. Тень от размашистых ресниц залегла на скулах глубокими провалами. Каждый раз, когда карету подбрасывало на кочке, Трифон едва заметно морщился, а его пальцы судорожно впивались в край одеяла. Я сидела рядом, придерживая его за плечо при особо сильной тряске. Моя ладонь чувствовала жар его тела сквозь сукно мундира. Пятьдесят лет практики научили меня одному: в такие моменты врач должен быть якорем. Спокойным, твердым и абсолютно рациональным. Я достала из-за корсажа записку, брошенную нищим. Бумага уже пропиталась моим теплом. «Берегись подвала. Там то, что Авдей не нашел...» — Кто бы ты ни был, старик, загадки загадывать ты мастер, — прошептала я, глядя на корявые буквы. Почерк был мужской, уверенный, несмотря на небрежность. Человек явно знал мать Аксины. В памяти всплыл образ женщины с тонкими губами и глазами, в которых всегда горел какой-то странный, лихорадочный огонь. В городе её называли «странной», Авдей называл «безумной», а нищий советовал искать в подвале. — О чем... думаете? — Голос Трифона был едва слышным шелестом. Он открыл глаза. Мутные от слабости, они всё же пытались зацепиться за реальность. — О том, что нам обоим нужно выпить воды, Трифон Петрович, — я убрала записку и потянулась к фляге. — И о том, что в Ольховке нас явно не ждут с пирогами. Я приподняла его голову, помогая сделать несколько глотков мятного настоя. Мои

пальцы коснулись его виска — жар спадал, это был хороший знак.

— Вы... говорили о сыне, — он заставил себя сглотнуть. — С чего вы взяли, что он

жив?

Я замерла, прижимая флягу к груди. Это был первый раз, когда я произнесла это

вслух в этом мире.

— Сердце, Трифон Петрович. И факты. Пятый день после родов Аксиньи,...моих родов

— именно

тогда меня начали активно «лечить» новыми каплями. Именно тогда свекор Петр

внезапно уехал в приют. Акушерка исчезла из города через неделю. Слишком много

совпадений для одной маленькой смерти. Авдей спрятал его, чтобы манипулировать

мною. Или чтобы предъявить наследника, когда Аксинья окончательно сойдет с ума

и «самоубьется».

Трифон внимательно слушал, его дыхание стало более ровным.

— Если это так... Авдей совершил государственное преступление.

Подлог наследника второй гильдии — это каторга. Я помогу. У меня есть связи в Петербурге,

проверим списки Николаевского приюта по закрытым каналам. Но будьте осторожны.

Если

он поймет, что вы на хвосте — мальчик исчезнет навсегда.

— Я знаю, — я сжала его руку. — Поэтому мы будем действовать тихо. Сначала —

Ольховка.

Внезапно карета резко дернулась. Снаружи раздался пронзительный свист, а затем —

дикий крик кучера и ржание коней. Мы остановились так внезапно, что Трифон едва

не скатился с сиденья. Я едва успела подхватить его, упираясь коленями в пол.

— Что происходит?! — крикнула я в окно.

— Засада! — Орал Егор, один из казаков конвоя. — Повалено дерево! Назад, барыня,

вглубь кареты!

Снаружи послышался топот копыт и лязг стали. Я выглянула: из густого ельника на

дорогу выскочили шестеро. Одеты в простые крестьянские армяки, но кони под ними

были добрые, а сабли в руках — боевые, не чета мужицким косам. Наймиты. Авдейка,

ты не поспешил.

Казаки конвоя действовали молниеносно. Егор и еще трое выхватили шашки,

завязывая бой прямо у колес кареты.

— Трифон Петрович, лежите! — я прижала его к подушкам, когда дверь кареты с моей

стороны содрогнулась от удара.

Какой-то бородатый детина с красным лицом пытался выломать замок. В его глазах

не было жалости — только азарт охотника, которому пообещали хорошую премию за

голову «безумной бабы».

Я не кричала. За годы в сельской больнице я видела и поножовщину в приемном

покое, и пьяных дебоширов с топорами. Страх ушел, сменившись холодной,

хирургической яростью. Я схватила тяжелый медный подсвечник, стоявший в

нише кареты.

Дверь распахнулась. Бородач занес руку с ножом, но я оказалась быстрее. Я не

стала бить по голове — там кость толстая. Я ударила наотмашь, концом

подсвечника, прямо в коленную чашечку.

Хруст был отчетливо слышен даже сквозь шум боя. Бандит взвыл, подламываясь. Я

тут же ударила вторым движением — в висок, коротким, тычковым ударом, как

учили на курсах самообороны для врачей скорой.

Он мешком осел на подножку. В этот момент Егор снес голову второму нападавшему,

и остальные, поняв, что «легкой прогулки» не выйдет, пришпорили коней и

скрылись в лесу.

— Все целы? — я выскочила из кареты, тяжело дыша. Платье было в пыли, на руках —

пятна чужой крови.

— Егорку зацепило! — крикнул один из казаков.

Молодой казак сидел на обочине, прижимая руку к плечу. Сквозь пальцы быстро

просачивалась алая кровь. Мундир был вспорот саблей.

— В карету его! — скомандовала я, и в моем голосе не осталось ничего от купчихи.

Только врач. — Живо!

Я развернула свой походный набор, который собрала еще в лазарете. Водка, чистые

холщовые ленты, игла и шелковая нить.

— Трифон Петрович, подвиньтесь, — я бесцеремонно втиснула Егора на край сиденья.

— Пей, парень.

Я влила казаку в рот добрую порцию водки и остатком щедро полила рану. Егор

зашипел, впиваясь зубами в губу, но не шелохнулся. Я работала быстро.

Сабельный удар прошел по касательной, мышца была рассечена, но кость цела.

— Будешь как новенький, — я шила уверенно, накладывая ровные стежки. — Только

шашкой пару недель не маши, а то швы лопнут.

Казачи, столпившиеся у окна, смотрели на меня с нескрываемым благоговением. Для

них женщина, которая не падает в обморок при виде вспоротого плеча, а

хладнокровно латает его, была сродни божеству.

— Гляди, барыня... — Егор указал здоровой рукой на убитого бандита у колес. — У

этого, что вы приложили, из кармана выпало.

На земле лежал небольшой медный жетон. Я подняла его. Торговый знак дома

Коробовых. Личный пропуск для приказчиков Авдея.

— Метка зверя, — я спрятала жетон в складках юбки. — Сохраним для суда. Авдей

Петрович очень расстроится, когда узнает, что его приказчики подрабатывают

разбоем на больших дорогах.

Мы двинулись дальше, когда солнце уже начало клониться к закату. Карета свернула

с тракта на узкую, заросшую дорогу. Лес здесь стал другим — мрачным, еловым, с

висящими на ветвях бородами седого мха. Воздух стал холодным и влажным,

пахнувшим торфом и застойной водой.

— Ольховка близко, — Трифон приподнялся, глядя в окно. — Местные обходят эти

места стороной. Говорят, тут земля тяжелая. Ваша мать... она ведь никого не

принимала в последние годы?

— Она искала лекарство, — ответила я, глядя на проплывающие мимо корявые

деревья. — От того, что считала проклятием нашего рода. Авдей называл это

безумием, а я называю это жаждой знаний, за которую в этом веке сжигают на

кострах — явных или неявных.

Усадьба показалась внезапно за поворотом. Серая, каменная, она словно вырастала

из самого болота. Обрушившаяся балюстрада террасы напоминала челюсть скелета.

Заколоченные досками окна первого этажа смотрели на мир слепо и враждебно. Сад

превратился в непролазную чащу, где одичавший шиповник переплелся с крапивой в

человеческий рост.

Ольховка выглядела мертвой.

Карета со скрипом остановилась у ржавых ворот. Я вышла первой. Тяжелый, сырой

воздух мгновенно окутал плечи.

Из дверей дома, которые со стоном отворились, вышли двое. Старуха в темном

платке, согнутая почти пополам, и высокий, одноглазый старик в поношенном

казакине.

Степанида и Лукич. Тени былого величия.

Они замерли на верхней ступени, щурясь на закатное солнце. Когда я шагнула

вперед, Степанида вдруг мелко закрестилась, а Лукич выронил метлу.

— Призрак... — прошептала старуха, её голос был похож на шелест сухой листвы. —

Аксиньюшка... Неужто живая? А Авдейка-то сказывал — совсем плоха барыня-то. Мол скоро свечки будем ставить за упокой.

— Рано свечки ставить, Степанида, — я подошла к ней и взяла её за костлявую,

холодную руку. — Я вернулась. И не одна. Помогай, Лукич, неси барина в дом.

Он ранен.

Старики засуетились. В их движениях не было радости — только суеверный страх и

покорность судьбе.

Я вошла в холл. Холод внутри дома был еще острее, чем снаружи. Под потолком

висела вековая паутина, пыль лежала на паркете толстым серым ковром. Со

стен смотрели портреты предков, потемневшие от времени.

Я остановилась перед одним из них. Женщина в темном платье, с бледным лицом и

глазами, которые, казалось, следили за каждым моим движением. Моя мать. Её

взгляд был пронзительным и странно знакомым. Словно она знала, что я приду

сюда через много лет, с чужой душой в теле её дочери.

Прямо под портретом, на полу, я увидела нечто, что заставило меня вздрогнуть.

Дохлая крыса. Свежая, с неестественно вывернутой шеей. Она лежала на чистом

пяточке пола, словно её положили туда специально.

Знак. Нас здесь не ждали. Или, наоборот, ждали слишком сильно.

— Берегись подвала, — прошептала я, чувствуя, как по спине пробежал холодок.

Я посмотрела на Трифона, которого Лукич и Егор осторожно укладывали на старый

диван в гостиной. Офицер был без сознания — дорога и ранение всё же взяли

свое.

Я осталась одна против этого дома, против теней прошлого и против Авдея, который

явно не закончил свою игру. Но в моих жилах текла кровь, очищенная от мышьяка, а

в голове был опыт женщины, которая привыкла вырывать жизнь у смерти.

Я подняла с пола дохлую крысу, завернула её в лоскут ткани и выбросила в камин.

— Ну что же, Ольховка, — я расправила плечи, глядя на портрет матери. — Давай

знакомиться заново. Врачиха приехала. И теперь здесь будут другие правила.

Я сделала первый шаг по лестнице, и половицы под моими ногами отозвались глухим,

предупреждающим стоном. Подвал был где-то там, внизу, и он ждал. Но сначала мне

нужно было спасти Трифона.

Ночь вступала в свои права, укутывая усадьбу саваном тумана. Начиналась первая

глава моей новой, настоящей жизни.

Глава 9

Запах в главном холле Ольховки напоминал мне старый чердак моей районной больницы — смесь сухой пыли, мышиного помета и чего-то неуловимо лекарственного, что въелось в сами камни фундамента. Дом не просто стоял заброшенным; он словно затаил дыхание, ожидая, когда последняя подпорка прогниет и крыша обрушится на головы дерзких пришельцев.

— Степанида, воды. Горячей. Много, — мой голос гулко разлетелся под сводами, заставив старуху вздрогнуть. — И найди чистые простыни. Если они пахнут сыростью — прогладь их утюгом с углями. Живо!

Старуха замялась, теребя засаленный фартук. — Дык, барыня... Простыни-то в сундуках молью битые... А утюг-то Лукич в сарай снес, чтоб не заржавел...

Я повернулась к ней, и Степанида осеклась. В моем взгляде не было прежней кротости Аксины, которая вечно извинялась за само свое существование. —

Степанида, — я сделала шаг к ней, и мои ботинки, перепачканные дорожной грязью, оставили четкие следы на серой пыли паркета. — Если через полчаса у меня не будет горячей воды и чистого места для раненого — завтракать ты будешь в лесу. Поняла?

Старуха охнула, прикрыв рот ладонью, и засеменила вглубь коридора. Лукич, одноглазый старик с повадками старого пса, уже вместе с Егором осторожно поднимал Трифона на второй этаж.

Мы выбрали малую гостиную — там окна выходили на восток, и хотя бы утром солнце могло прогреть эти промерзшие стены. Комната встретила нас зачехленной мебелью, похожей на призраков в белых саванах. Егор и Лукич уложили Трифона на диван, обивка которого когда-то была золотистой, а теперь напоминала шкуру облезлого зверя.

— Барыня, — Егор вытер пот со лба, — барин-то совсем плох. Не дышит почти. Я подошла к Трифону. Лицо его в свете одинокой свечи казалось восковой маской. Я приложила пальцы к его шее. Пульс был нитевидным, частым — типичный шок после

кровопотери и долгой тряски.

— Он жив, Егор. Просто организм взял паузу, — я начала расстегивать пуговицы его

мундира. Руки работали быстро, автоматически. — Иди вниз, помоги Лукичу с

каретой. И проверьте затворы на дверях. После засады на тракте я не

удивлюсь, если Авдей пришлет еще гостей.

Когда они вышли, я осталась один на один с Трифоном и тишиной этого дома. Тишина

была тяжелой. Она давила на плечи, шептала из углов. Я чувствовала, как Ольховка

присматривается ко мне, пробует на вкус мою волю.

Я размотала повязку на бедре Трифона. Слава Богу, швы выдержали, но кожа вокруг

разреза была неестественно бледной. Кровопотеря была на грани критической. В

моем времени я бы уже поставила капельницу с физраствором или плазмой, но

здесь... Здесь у меня была только воля и чистая вода.

Степанида вернулась с дымящимся тазом и стопкой грубых, но сухих холстов. — Вот,

матушка... Нагрела. И свечи вот, новые, в подвале нашла.

Я начала промывать рану. Вода окрашивалась в розовый цвет. Трифон внезапно

вздрагнул и открыл глаза. Взгляд его был мутным, блуждающим, он не сразу

понял, где находится. Его рука дернулась, пытаясь нащупать эфес сабли, которой

рядом не было.

— Тихо, Трифон Петрович, — я прижала ладонь к его груди, чувствуя, как часто

колотится его сердце. — Мы в Ольховке. Всё закончилось. Спите.

Он сфокусировал взгляд на моем лице. Его пальцы, холодные и сухие, коснулись

моего запястья — там, где еще недавно были кандалы. — Вы... вы правда здесь... —

прошептал он. — Пахнет... полынью.

— Это мазь, — я невольно улыбнулась. — Спите. Я рядом.

Он снова закрыл глаза, и его дыхание стало ровнее. Я закончила перевязку, укрыла

его тяжелым, пахнущим нафталином одеялом и наконец позволила себе выпрямиться.

Спина ныла, ноги гудели, но работа еще не была закончена.

Я вышла в коридор. Степанида ждала меня у дверей, сжимая в руках огарок свечи. —

Барыня... Аксиныюшка... Вы уж простите нас, стариков. Авдейка-то, ирод, присылал

приказчика. Сказал — если и выживет барыня, то она все равно безумная, так вы её в комнаты не пускайте, в сарае запирайте, пока люди из лечебницы не приедут.

Мы-то думали, и впрямь... А вы вон какая. Глаза-то матушкины, Царствие ей небесное.

Я посмотрела на старуху. В её глазах был не просто страх, а застарелая, глубокая

печаль. — Авдей Петрович больше здесь не хозяин, Степанида. Запомни это. И

передай Лукичу. Если кто приедет от него — гнать в шею. А теперь покажи

мне кухню. И принеси дневники матери, если они сохранились.

Кухня Ольховки оказалась огромным, сводчатым помещением, которое когда-то

кормило десятки людей. Сейчас здесь царило запустение. Медная посуда

потемнела, в углах скопилась сажа. Я осмотрела полки. Ничего, кроме крупы,

старой муки и сушеных грибов.

— Бедно живем, матушка, — вздохнула Степанида, раздувая угли в печи. —

Авдейка-то на прокорм копейки слал. Сказал — помирать вам пора,

дармоедам.

— Не помрем, — я села за грубо сколоченный деревянный стол. — Завтра Лукич

поедет в деревню. Купит молока, мяса, яиц. Деньги у меня есть.

Я достала из шкатулки ту самую записку от нищего. «Берегись подвала». —

Степанида, что там, в подвале? Почему мать туда никого не пускала?

Старуха вдруг побледнела и начала истово креститься. — Ох, барыня... Не ходите вы

туда. Матушка ваша, Николаевна, она ведь там ночи напролет сидела. Огни там

горели синие, дым шел странный. Сказывали, она лекарство искала... От тоски

своей. А Авдейка-то, как приехал за документами, так подвал-то и не открыл.

Замки там такие, что и ломом не возьмешь. Сказал — проклято место.

Я вспомнила тяжелый ключ, который дала мне Глафира. Могла ли она знать? Нет, это

был ключ от архива управы. Значит, ключ от подвала должен быть где-то здесь. В

доме.

— Ладно, иди отдыхай, — я отпустила старуху. — Я побуду с больным.

Ночь в Ольховке была бесконечной. Я сидела в кресле у постели Трифона, глядя на

пляшущие тени на потолке. В этом доме я чувствовала себя странно — словно я не попаданка, а законная хозяйка, которая наконец-то вернулась из долгого, мучительного плена. Память Акси́ньи подбрасывала мне картинки из детства: как она бегала по этим коридорам, как пряталась за портъерами от строгого взгляда отца. Ольховка когда-то была живой. И я поклялась себе, что верну ей эту жизнь. Ближе к рассвету я забылась тревожным сном. Мне снился подвал — бесконечные стеллажи с банками, в которых плавали странные существа, и голос матери, шептавший: «Ищи за иконой... за иконой Николая...».

Глава 10

Утро в Ольховке не ласкало солнечными лучами, оно ворвалось в спальню ледяным сквозняком и запахом старой, прелой хвои. Я открыла глаза, на мгновение забыв, где нахожусь, и уставилась в высокий потолок, по которому расползалась глубокая трещина, похожая на русло высохшей реки.

— Ну вот и началось, — прошептала я, чувствуя, как под одеялом коченеют ноги. Вчерашний приезд казался смазанным сном: сумерки, руины, раненый Трифон и дохлая крыса на паркете. Но утро расставило всё по местам. Я поднялась, кутаясь в шаль, которую нашла в сундуке. Металлическая пуговица, мой верный «скальпель», всё еще лежала в кармане платья, напоминая о том, что я здесь не гостя, а хозяйка. Я подошла к окну. Туман над болотом медленно рассеивался, обнажая заросший парк.

Где-то там, за лесами, был мой сын. Где-то там был Авдей, который наверняка уже планировал следующий ход. Но здесь, в этом полуразрушенном доме, я чувствовала свою силу.

Я посмотрела на свои руки. Они были чистыми, твердыми. Руки врача. Руки матери. Руки хозяйки.

— Ну что, Акси́нья, — прошептала я, поправляя выбившуюся прядь волос. — День первый начинается. Мы вышли из тюрьмы, мы выжили на дороге. Теперь начинается самое интересное. Будем строить свою империю на обломках твоих кошмаров. В дверь робко постучали. — Барыня... — голос Лукича был взволнованным. — Там... у ворот... Мужики из деревни пришли. Говорят, слышали, что Врачиха приехала.

Просят помощи — у кузнеца дочка лихорадкой мается, совсем плохая. Я обернулась. В груди разлилось знакомое тепло — азарт человека, который знает, что делать. — Скажи, пусть несут сюда, Лукич. И приготовь мне стол в холле.

Сегодня Ольховка открывает свои двери. Я взглянула на Трифона. Он спал, и на его губах блуждала слабая, едва заметная улыбка. Первый пациент в этом доме шел на поправку. Это был конец моего изгнания. И начало моей власти. Я вышла из комнаты, и на этот раз половицы под моими ногами не стонали. Они

приветствовали меня. Врачиха вернулась. И теперь в Ольховке будет пахнуть не пылью, а жизнью.

Я спустилась на первый этаж. В холле было так же холодно, как в морге, но из

кухни уже доносились звуки — приглушенные голоса и стук посуды.

— Лукич, ты мужиков-то не пущай пока в дом, — шипела Степанида. — Барыня

почивать изволят, а они со своими болячками... — Дык кузнец-то в ноги

кланяется, Стеша. Дочка у него совсем огнем горит, — басил Лукич.

Я вошла на кухню, и старики тут же замолчали. Лукич, одноглазый и нескладный,

замер у двери, прижимая к груди старую шапку. — Доброе утро, — сказала я, и

мой голос, сухой и деловитый, заставил их выпрямиться. — Лукич, зови кузнеца.

Пусть заносит девочку в малую гостиную, там где Трифон. Там печь натоплена. Степанида, мне

нужен кипяток, чистый холст и весь уксус, что найдешь в доме. Если уксуса

нет — тащи самое кислое вино.

— Есть, Аксиныюшка, есть... — старуха засеменила к погребу.

Через пять минут в малую гостиную вошел огромный мужик с перекошенным от горя лицом. На руках он бережно нес сверток. — Барыня... Врачиха... Помоги, — выдохнул он, опуская ношу на стол,

который я велела застелить чистой (насколько это было возможно) простыней.

Я подошла к ребенку. Девочке было лет восемь. Кожа серая, губы потрескались,

дыхание частое, свистящее. Я приложила ладонь к её лбу — жарит градусов под

сорок. «Пневмония? Или тяжелый грипп?» — мозг привычно начал перебирать

варианты.

Я распеленала её. Грудь ходила ходуном, в легких отчетливо слышались хрипы. —

Давно болеет? — спросила я кузнеца, не оборачиваясь. — Третий день, матушка.

Всё кашляла, а вчера вот... обмякла вся. Лекарка деревенская сказала — заговоры

не берут, значит, смерть пришла.

— Рано ей со смертью знакомиться, — отрезала я. — Лукич, держи её за плечи.

Степанида, уксус!

Я начала растирать тельце девочки слабым раствором уксуса, сбивая температуру.

Старый дедовский метод, но в условиях отсутствия антибиотиков — единственное

спасение от теплового удара. Девочка слабо застонала. Трифон на диване зашевелился, открыл глаза. Он наблюдал за моими движениями молча, и в его взгляде, затуманенном слабостью, я видела странную смесь доверия и восхищения. Он видел, как я вчера спасла его, и теперь видел, как я сражаюсь за жизнь этого ребенка.

— Кузнец, как тебя зовут? — спросила я, когда жар начал понемногу спадать. —

Фролом кличут, барыня. — Слушай меня, Фрол. Девочке нужно пить. Много. Отвар малины, липы, просто теплую воду. Каждые полчаса — по ложке. И грудь ей мажь жиром барсучьим или гусиным, если есть. Понял? Кузнец кивнул, преданно глядя мне в рот. — И вот еще что. Ольховке нужны рабочие руки. Крыша течет, окна заколочены. Я тебе — дочку здоровую, ты мне — работу.

Понял?

— Всё сделаю, барыня! Кровлю перекрою, забор справлю! Только спаси

Машутку...

Когда кузнец ушел, унося заснувшую дочь, я обессиленно опустилась в кресло рядом с Трифоном.

— Вы... настоящий полководец, Акси́нья, — прохрипел он. — Сначала — жгут офицеру, теперь — кузнецу надежду. Вы так всю губернию в должники запишете.

— Я просто делаю свою работу, Трифон Петрович, — я поправила ему одеяло. — В этом мире слишком много верят в заговоры и слишком мало — в мыло и кипяток.

Как ваше бедро?

— Ноет, — честно признался он. — Но это хорошая боль. Живая.

Я проверила его пульс. Стабильный. Мышьяковая слабость в моих собственных руках

тоже начала отступать, сменяясь привычной рабочей сосредоточенностью. Ольховка

требовала хозяйки, и я не собиралась её подводить.

Вторая половина дня прошла в хлопотах, от которых у любого другого голова бы

пошла кругом. Я инспектировала кухню, кладовые и заставила Лукича вычистить

хотя бы две комнаты на втором этаже. Пыль стояла столбом, Степанида ворчала, но

Ольховка медленно, со скрипом, начинала дышать.

Но одна мысль не давала мне покоя. Схема. План подвала, который я нашла в секретере матери перед самым сном.
«Для той, кто придет за исцелением»...
Я дождалась, пока Трифон уснет после обеда, а Степанида уйдет на кухню щи варить. Взяла лампу и поднялась в спальню матери на втором этаже. Комната была заперта, но ключ нашелся на косяке двери — старый Лукич явно боялся сюда заходить, но порядок соблюдал.
Внутри пахло сухой лавандой и чем-то острым, химическим. Комната была обставлена скромно, но со вкусом: узкая кровать, тяжелый дубовый шкаф и изящный секретер.
На стене висела икона Николая Угодника в серебряном окладе.
Я подошла к кровати. Отодвинула тяжелый пыльный подзор. Пол под кроватью был выложен дубовым паркетом, как и во всем доме, но одна плашка сидела чуть криво. Я подцепила её пальцами — и точно! Под ней оказалось металлическое кольцо.
Сердце забилося где-то в горле. Я потянула за кольцо. С тихим, маслянистым звуком часть пола приподнялась, открывая зев узкой винтовой лестницы, уходящей вниз.
— Вот ты где, тайный ход, — прошептала я.
Я спустилась вниз, подсвечивая себе лампой. Лестница была узкой, ступени — из холодного камня. Я насчитала двадцать ступеней, прежде чем мои ноги коснулись ровного пола.
Лампа выхватила из темноты помещение, которое никак не вязалось с обликом заброшенной русской усадьбы. Это была лаборатория.
Вдоль стен стояли стеллажи, забитые склянками из темного стекла. На длинном столе — реторты, весы, какие-то сложные приспособления из меди и стекла. Но главное — здесь не было пыли. Словно помещение было герметично закрыто от остального дома.
Я подошла к столу. В центре, на чистом листе пергамента, лежал небольшой золотой медальон. Точно такой же, как в моем сне.
Я открыла его. Внутри, под стеклом, была крошечная прядь светлых волос. И

надпись: «Павел. 1880 год».

Год рождения сына Аксины.

— Значит, мать знала, — я почувствовала, как по спине пробежал холод. — Она

знала про ребенка. Она готовила это место... для меня? Или для

Аксины?

Рядом с медальоном лежала толстая тетрадь в кожаном переплете. «Фармакопоя

Ольховки». Я открыла первую страницу и ахнула. Рецепты. Сотни рецептов: от

лихорадки, от болей в суставах, от... медленного яда.

Мать Аксины была не сумасшедшей. Она была фармацевтом опередившим свое время.

Или... она была такой же, как я?

Внезапно сверху, из дома, донесся резкий звук. Стук в дверь. Громкий,

требовательный. А за ним — испуганный крик Степаниды.

Я быстро схватила медальон и тетрадь, задула лампу и замерла в темноте

лаборатории.

— Открывай, старая ведьма! — гремел незнакомый голос. — По приказу Авдея

Петровича! Мы знаем, что она здесь! Выводи сумасшедшую, пока мы дом не

спалили!

Авдей не стал ждать. Он прислал людей зачистить «руины» раньше, чем я успела в

них закрепиться.

Я стояла в темноте подвала, прижимая к груди записи матери и медальон сына. У

меня не было оружия. У меня был только ум пятидесятилетней женщины и знания,

спрятанные в этой тетради.

Но в этот момент я поняла: я не убегу. Я медленно начала подниматься по лестнице

обратно. Врачиха приехала домой. И пришло время показать этим «приказчикам», что

бывает, когда нарушают покой доктора.

Я вышла из спальни матери как раз в тот момент, когда в холл

ворвались трое дюжих молодчиков в кафтанах Коробовых. Лукич пытался

преградить им путь, но его оттолкнули. — Где она?! — рявкнул

предводитель, размахивая нагайкой. Я остановилась на верхней

площадке лестницы, сжимая в руке склянку, которую успела прихватить в

лаборатории. На ней была пометка: «Soporiferum» (Снотворное). Но я знала, что в нужной концентрации оно действует мгновенно. — Я здесь, — сказала я ледяным голосом. — И если вы сделаете еще один шаг, я поставлю вам диагноз, от которого вы не проснетесь.

Глава 11

Трое ввалившихся в холл мужиков пахли одинаково: мокрой овчиной, дешёвым табаком и застарелой злобой людей, которым дали власть над кем-то беззащитным.

Предводитель, дюжий детина с красным лицом и мясистым носом — Никон —

по-хозяйски сплюнул на щербатый паркет.

— Гляди-ка, ребята, — Никон осклабился, задрав голову и глядя на меня. — Ожила

покойница. А Авдей Петрович-то сказывал, ты в остроге совсем умом тронулась.

Я стояла на верхней площадке лестницы, сжимая в руке склянку. В ней был обычный

концентрат валерианы из лаборатории матери, но Никон об этом знать не мог. —

Никон, — мой голос прозвучал так спокойно, что мужик невольно осекся. — Ты

зря пришел. У тебя лицо багровое, а вена на виске того и гляди лопнет. Ты

когда последний раз левую руку чувствовал? Пальцы не немеют? А в голове не

шумит, будто мельница крутит?

Никон замер. Его рука невольно дрогнула. Он узнал симптомы гипертонического

криза, который в этом веке называли «апоплексическим ударом». — Ты мне зубы

не заговаривай! — выкрикнул он, но попятился. — Нам велено тебя в город вернуть!

— Сделай еще шаг, — я медленно подняла склянку. — Если я разобью этот флакон, вы

и до дверей не добежите — уснете навсегда. А проснешься ты, Никон, уже в гробу.

Уходи, пока я не передумала тебя лечить.

Двое его подручных переглянулись и, не дожидаясь команды, ломанулись к дверям.

Никон, хрипло дыша, последовал за ними. Страх перед «ведьмой-врачихой»

оказался сильнее приказов хозяина.

Я опустилась на ступеньку, чувствуя, как дрожат колени. — Ушли... — Степанида

вышла из тени и мелко перекрестилась. — Ох, Аксиныюшка, как же вы их...

— Это только начало, Стеша, — я поднялась. — Лукич, запри двери. А я... я должна

закончить дела в подвале.

Лаборатория матери встретила меня тишиной и запахом старой аптеки. Я снова

открыла «Фармакопею Ольховки». Страницы были исписаны мелким, летящим

почерком. Мать Аксины не просто варила травы — она занималась синтезом. В записях я нашла упоминание о «белом порошке из коры ивы», который снимает жар.

Салицилаты. В моем времени это назовут аспирином.

Я нашла медальон сына. Золото было холодным, но прядь волос внутри казалась живой. — Я найду тебя, Павел, — прошептала я, пряча медальон в потайной карман фартука. — Клянусь.

Мои размышления прервал громкий, отчаянный стук в парадную дверь. Но это не были люди Авдея. Это был крик человека, доведенного до крайности.

Я поднялась вверх. В холле стоял отец Михаил — местный священник, человек строгий и, как мне говорили, ненавидевший «странности» дома Ольховых. Он был без рясы, в простой рубашке, на руках он держал маленького мальчика.

— Помоги... — голос священника сорвался. — Сказывали, ты дочку Фрола вчера от жара спасла. Сын мой... задыхается! Матушка его уже обмывать собралась, а я... я к тебе принес! Коли ты ведьма — жги мою душу, но Павлика спаси!

Я мгновенно откинула край одеяла. Ребенку было года четыре. Лицо синюшное, глаза выкачены от ужаса, каждый вдох давался с таким свистом, что, казалось, рвется бумага. — Ларингоспазм. Круп, — поставила я диагноз. — Фролова Машутка вчера просто горела, а тут перекрыты дыхательные пути.

— В малую гостиную! — скомандовала я. — Степанида, Лукич — воды! Ташите все котлы! Фрол, если ты здесь — руби дрова, нам нужен жар!

Священник стоял, прижимая крест к груди, глядя, как я бесперемонно расстегиваю воротник его сына. — Отойди, отче, — отрезала я. — Молиться будешь потом.

Сейчас — дыши вместе с ним.

Мы соорудили паровую палатку из простыней над кипящими котлами. Я добавила в воду немного соды и сушеной ромашки из запасов матери. Внутри «палатки» стало нечем дышать от влажного, горячего пара, но именно это и было нужно.

Отек гортани должен был спасть.

Я держала Павлика на руках, чувствуя, как его маленькое тельце содрогается. — Дыши, малыш... дыши...

Минуты тянулись как часы. Трифон, сидевший в углу на диване, наблюдал за мной, и

в его взгляде я видела не просто интерес, а глубокую, тяжелую думу. Он видел, как я, объявленная безумной, спасаю сына того, кто должен был меня проклясть. Наконец, свист сменился хриплым, но глубоким вздохом. Синева начала уходить с лица мальчика. Он слабо всхлипнул и прижался ко мне.

— Кризис миновал, — я вышла из-под простыней, вся мокрая от пара. — Отец Михаил, забирай сына. Но помни: в доме должно быть сыро. Понял? Вешай мокрые полотенца на печь. И пои его теплыми отварами.

Священник упал на колени прямо на грязный пол. — Бог мой... Чудо... — Не чудо, отче, — я вытерла лицо полотенцем. — Физика и немного соды. Иди с миром. И скажи в деревне: Ольховка теперь не проклятый дом. Ольховка — это больница.

Когда отец Михаил ушел, не переставая благодарить, Трифон подошел ко мне, опираясь на трость. — Вы понимаете, что сейчас произошло? — спросил он тихо.

— Я спасла ребенка. — Нет, Акси́нья. Вы захватили власть над душами этих людей.

Если священник скажет, что вы — от Бога, Авдей не сможет натравить на вас даже жандармов. Вы — Белая Госпожа Ольховки. Так вас теперь будут называть.

Я посмотрела на свои руки. Они пахли ромашкой и уксусом. — Пусть называют как хотят, Трифон Петрович. Лишь бы не мешали работать.

— Лукич! — крикнула я в холл. — Что там с нищим?

Старик Лукич вышел из тени, его единственный глаз подозрительно блеснул. — Ждет он, матушка. У ворот сидит. Велел передать: в Николаевском приюте завтра инспекция. Если хочешь сына увидеть — надо ехать ночью. Карету Авдея там уже видели.

Я почувствовала, как внутри всё заledenело. Авдей был там. — Едем, — сказала я, поворачиваясь к Трифону. — Вы со мной?

Трифон выпрямился, и в его глазах блеснула сталь. — Я ваш надзиратель, Акси́нья Николаевна. Я обязан следовать за вами даже в ад. А Николаевский приют — это он и есть.

Мы выехали в полночь. Карета мягко катилась по заросшей дороге, скрытая туманом.

Я сидела напротив Трифона, сжимая в руке тетрадь матери и медальон Павла.

Впереди был Николаевск — место, где время остановилось для сотен детей. И я

знала, что завтрашний день изменит всё. Либо я найду сына, либо я найду

повод уничтожить Авдея окончательно.

— Берегитесь комнаты №4, — прошептал Трифон, глядя в окно на проплывающие мимо

черные деревья. — Я слышал о ней в управе. Там лежат те, кого уже не лечат.

Я сжала челюсти. — Я врач, Трифон Петрович. Для меня нет тех, кого «не лечат».

Есть те, кого еще не успели спасти.

Карета нырнула в густую чащу леса, направляясь к приюту. Ольховка осталась

позади, но её сила — сила знаний и новой репутации — ехала вместе со мной.

Когда мы подъехали к высоким каменным стенам приюта, я увидела у

ворот знакомую фигуру. Это была экономка Авдея, Марфа Степановна. Она

передавала стражнику тяжелый кошель и что-то шептала, указывая на окна

второго этажа. — Комната №4, — разобрала я по губам. — Сегодня ночью. Чтобы к

утру всё было кончено. Я поняла: мы приехали вовремя. Или... слишком поздно.

Глава 12

Туман у ворот Николаевского приюта был таким густым и липким, что казался осязаемым, словно серое погребальное савано, наброшенное на эти угрюмые каменные стены. Я прижалась к холодному борту кареты, стараясь даже не дышать.

В нескольких шагах от нас, у тяжелых кованых ворот, Марфа Степановна, экономка

Авдея, что-то вкрадчиво шептала дежурному стражнику.

Звякнуло золото. Тяжелый кошель переключал из её пухлых пальцев в широкую

ладонь охранника.

— Помни, Егорыч, — долетел до меня её змеиный шепот. — Комната номер четыре.

Чтобы к утру всё было тихо. Авдей Петрович за верность вдвойне оплатит, а

за оплошность — сам знаешь, шкуру спустит.

Стражник хмыкнул, пряча деньги за пазуху, и приоткрыл калитку. Марфа, поправив

шаль, юркнула внутрь.

— Видели? — я повернулась к Трифону. В темноте кареты его глаза блестели, как

два холодных клинка. — Она пришла убивать моего сына. Прямо сейчас.

Трифон Петрович сжал мою руку. Его ладонь была горячей, сухой и пугающе твердой.

— Тише, Аксинья. Гневом делу не поможешь. Если ворвемся открыто — поднимут

тревогу, и мы не успеем. Здесь свои законы.

Он тяжело поднялся, опираясь на трость. Лицо его было бледным, на лбу выступила

испарина — раненое бедро всё еще давало о себе знать при каждом движении, но в

его осанке проснулся кадровый офицер, идущий в разведку.

— Лукич, — негромко позвал он старика. — Коней отведи в перелесок. Жди нас там.

Если через час не выйдем — скачи в город, ищи урядника Соколова, передай мой

перстень. Понял?

Лукич коротко кивнул и, не проронив ни слова, увел лошадей в серую мглу. Мы

оста

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.